

Сын волка. Дети мороза. Игра (сборник)

Автор:

Джек Лондон

Сын волка. Дети мороза. Игра (сборник)

Джек Лондон

Джек Лондон. Собрание сочинений (Клуб семейного досуга) #4

В очередном томе произведений Джека Лондона собраны три знаковые работы: «Сын Волка», «Дети Мороза» и «Игра». Их объединяет тема борьбы человека за свое существование – и с силами природы, и с другим человеком.

Джек Лондон

Сын волка. Дети мороза. Игра (сборник)

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2008, 2011

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Сын Волка

Белое Безмолвие

– Кармен не протянет, пожалуй, и пары дней. – Мэсон выплюнул ледышку и с сожалением посмотрел на собаку. Потом снова взял ее лапу в рот, продолжая обкусывать намерзший между пальцами лед.

– Никогда, знаешь, я не видел, чтобы собака с благородным именем была на что-нибудь годна!.. – сказал он, кончая работу и отбрасывая животное в сторону. – Они все какие-то чахлые идохнут от излишней ответственности. Разве заболевают собаки с простенькими именами вроде Кассияр, Сиваш или Хески? Вот, посмотри на Шукума, – он...

Трах! Скелетообразный зверь сделал страшный прыжок, и его белые зубы промелькнули у самой глотки Мэсона.

– А-а, чтоб тебя... – Затрещина по уху, удар кнута – и животное уже лежало в снегу, слабо взвизгивая, а желтая пена бежала у него изо рта.

– Так вот, я говорю: Шукум – сам-то он как будто еле волочит ноги, а увидишь, он съест эту Кармен. Не пройдет и недели, как съест.

– А у меня предложение как раз обратное, – отвечал Мельмут Кид, поворачивая замерзший хлеб, поставленный к огню. – Давайте-ка съедим лучше Шукума, пока он еще чего-нибудь не предпринял. Что ты скажешь на это, Руфь?

Индианка поставила чай на обломок льда и перевела глаза с Мельмута Кида на мужа и потом на собак. Она не сказала ничего. Все это было настолько банально, что и говорить не стоило. Впереди двести миль непрерывного пути с жалким шестидневным запасом для них самих, а для собак – ничего. А другого выхода нет. Двое мужчин и женщина сгрудились у огня и принялись за еду. Собаки лежали в упряжи – это была дневная передышка – и с жадностью следили за каждым проглатываемым куском.

– Сегодня последний завтрак, больше не будет, – заметил Мельмут Кид. – И я вам скажу, держите ухо востро с собаками, они становятся подозрительными. Что им стоит, в самом деле, при удобном случае перервать кому-нибудь глотку?

– А я был когда-то председателем в Эйварее и преподавал в воскресной школе!.. – Выпалив это, Мэсон погрузился в задумчивое созерцание своих дымящихся мокасинов и очнулся только тогда, когда Руфь поставила перед ним кружку чая. – Вот хорошо, что у нас еще есть кирпичный чай! А я ведь видел, как он растет, – там, в Теннесси. Что бы я дал сейчас за горячий кусок пирога! Не беда, Руфь: больше ты голодать не будешь. И мокасинов носить тоже не будешь.

Женщина вся засветилась при этих словах, и в глазах ее заструилась и поплыла большая любовь к белому господину – первому белому человеку, какого она знала, и первому человеку вообще, который относился к ней – женщине – несколько лучше, чем к вьючному животному.

– Да, Руфь, – продолжал ее муж, переходя на тот невообразимый жаргон, на котором они только и могли объясняться между собою. – Погоди только, пока мы это все обделаем! Мы отправимся тогда По Ту Сторону. Мы возьмем лодку Белого Человека и поедем на Большую Соленую Воду. Да, скверная вода, тяжелая вода – целые горы – вверх и вниз, вверх и вниз, все время. И такая большущая, и такая длинная... Очень далеко. Ты десять раз ляжешь спать, и двадцать раз ляжешь спать, и сорок раз ляжешь спать (для наглядности он подсчитывал по пальцам). И все время вода, скверная вода. А потом мы приезжаем в большую деревню. Народу тьма – вот как москитов в прошлое лето. А вигвамы... о, какие высокие вигвамы – десять елок, двадцать елок... Ха-йу?

Он беспомощно остановился, бросив умоляющий взгляд на Мельмут Кида. Потом на языке знаков добросовестно подытожил двадцать елок – точка в точку. Мельмут Кид улыбался несколько насмешливо, а у Руфи глаза стали совсем широкие от изумления и удовольствия. Ей показалось даже, что он шутит, и такая снисходительность особенно радовала ее бедное женское сердце.

– А потом ты влезаеть, ну, в коробку и – поехала! – Для иллюстрации он подбросил кверху свою пустую кружку и, ловко поймав ее, продолжал: – Пфф! Приехала вниз! О великие ученые люди! Ты едешь в Форт-Юкон, я еду в Северный Город – двадцать пять ночей и длинный шнурок между ними, все время шнурок. Я беру шнурок и говорю: «Алло, Руфь! Как вы там поживаете?», а ты мне: «Это мой милый муж?» А я отвечаю: «Да». А ты говоришь: «Не могу испечь хлеба, соды нет». А я тебе: «Посмотри-ка в шкафчике, под мукой». А потом – «до свиданья». Ты смотришь в шкафчик и находишь массу соды. И все время ты – в Форт-Юконе, я – в Северном Городе!

Руфь была настолько бесхитростно восхищена этой волшебной историей, что оба мужчины расхохотались. Собачий рев сразу оборвал все чудеса По Ту Сторону, и пока удалось разнять визжащих и рычащих псов, женщина снарядила сани и все было готово к отъезду.

– Пшли! Черти! Хи-и! Пшли же! – Масон заработал кнутом, и когда собаки налегли, он сам сдвинул упряжку, подпирая ее шестом. Руфь последовала со второй упряжкой, оставляя с последней Мельмут Кида, который помог ей сдвинуться. Сильный и грубый, способный свалить быка ударом кулака, Мельмут Кид не мог привыкнуть бить измученных собак и всячески старался ободрять их, что погонщики делают весьма редко. Он даже чуть не плакал...

– Ну-ну! Пойдем, пойдем, бедные вы, колченогие бестии! – бормотал он после нескольких неудачных попыток самому сдвинуть сани. И в конце концов терпение его было вознаграждено, и с кряхтеньем и оханьем они поторопились догонять товарищей.

Разговоров больше не было: напряженная работа не допускала такой роскоши. Ибо из всех смертельно тяжелых работ северные переезды – самая тяжелая. Счастлив тот, кто может проделать свой дневной путь по наезженной дороге, хотя бы и ценой молчания!

Ибо из всех изнуряющих работ самая тяжелая – пробивать след по снегу. На каждом шагу тяжелые плетеные лыжи проваливаются так, что снег приходится на уровне козел. Теперь вверх, совершенно перпендикулярно вверх, так как уклонение на один дюйм в сторону грозит настоящей катастрофой: лыжа должна быть поднята до самой поверхности и ни за что не зацепиться. Теперь вперед, то есть вниз, – и другая нога осторожно поднимается перпендикулярно на расстоянии полуярда. Всякий, кто первый раз пробует такой способ передвижения, – если ему даже посчастливится спасти лыжи и не растянуться самому при неверном шаге, – через какую-нибудь сотню ярдов совершенно выбьется из сил. И всякий, кто вынесет целый дневной переезд наравне с собаками, залезает на ночь в свой меховой мешок столь довольный собой и гордый, что и словами не рассказать. А тот, кто может сделать переезд в двадцать ночевок, несомненно, достоин зависти богов.

Послеобеденное время тоже прошло с тою серьезностью и почти жутью в душе, какая рождается в Белом Безмолвии, – безмолвные путники тянули свою лямку. У природы много различных способов убедить человека в его смертности и

ничтожестве – безостановочное движение моря, бешеная сила бури, толчки землетрясений, долгие перекаты небесной артиллерии, но самым поразительным, поражающим до оупения, является воздействие Белого Безмолвия. Всякое движение останавливается, небо безоблачно и точно вылило из свинца; малейший шепот кажется святотатством, и человек становится робким и пугается звука собственного голоса. Он – единственный знак жизни среди призрачной пустыни этого мертвого мира, и он пугается своей дерзости и чувствует себя несчастным червяком, ничем больше.

Так тянулся день. В одном месте река делала крутую петлю, и Мэсон захотел скосить путь через перешеек. Но собаки не могли взять высокий берег. Один раз, другой – и хотя Руфь и Мельмут Кид подпирали сани, собаки не брали. Тогда налегли из последних сил. Несчастные животные, ослабевшие от голода, старались как могли. Еще, еще – и сани вскарабкались по крутому подъему. Но передняя собака забрала слишком вправо и запутала в веревки мэсоновские лыжи. Результат оказался самый плачевный: Мэсон был сбит с ног, одна из собак упала, и сани поползли вниз, таща все за собою.

Тррр! Бешено заходил длинный кнут по спинам собак, обрушиваясь на упавшую.

– Нельзя, Мэсон! – вмешался Мельмут Кид. – Несчастные бестии и так едва волочат ноги. Подожди, я припрягу своих.

Услышав последние слова, Мэсон удержал на мгновение кнут, но потом пустил еще раз его змеиные кольца по телу неудачницы. Кармен – это была Кармен – жалобно взвыла, зарылась на мгновение в снег, а потом упала на бок, вытянув ноги.

Это был трагический момент: околевающая собака и неминуемая ссора между двумя товарищами. Руфь переводила умоляющий взгляд с одного на другого. Но Мельмут Кид сдержал себя, хотя глаза его явно выражали неодобрение, и, нагнувшись над собакой, перерезал веревки. Ни слова не было сказано. Пришлось впрягать двойную упряжку в каждые из саней, и препятствие осталось позади. Сани тронулись, околевающая собака тащилась позади всех. Пока животное может передвигать ноги, его не пристреливают. Это последняя милость – тащиться вместе со своими, сколько хватит сил, в надежде на кусок мяса, если только людям посчастливится убить оленя.

Уже раскаиваясь в своем поступке, но слишком упрямый, чтобы признаться в этом, Мэсон шел впереди каравана, совершенно не подозревая, что новая опасность висела над его головой. Шагах в пятидесяти от их дороги возвышалась могучая ель. Целые столетия она стояла здесь и целые столетия судьба уготовливала ей этот конец. Быть может, готовила она его также и для Мэсона.

Он остановился, чтобы подтянуть развязавшийся ремень сапога. Сани стали, и собаки, едва дыша, легли в снег. Тишина стояла жуткая. Ни малейшее дыхание не шевелило убранного инеем леса. Холод и молчание иной жизни, иных пространств убили душу и сомкнули уста испуганной природы. В воздухе задрожал вздох – они даже не услышали его, а скорее ощутили, как предчувствие движения в застывшей пустоте. И гигантское дерево, сломленное тяжестью снега и своих бесконечных лет, в последний раз сыграло свою роль в трагедии жизни. Человек услышал предостерегающий хруст и хотел отскочить, но было уже поздно – удар пришелся ему по плечу.

Внезапная опасность, близкая смерть – как часто Мельмут Кид стоял с ними лицом к лицу! Иглы ели еще не перестали дрожать, как он уже отдал свои короткие приказания и схватился за дело. Голос индианки тоже не дрогнул в праздных столах и жалобах, что непременно случилось бы с большинством ее белых сестер. По его приказу она бросилась всей тяжестью своего тела на сымпровизированный рычаг, стараясь уменьшить тяжесть дерева и прислушиваясь к столам мужа, в то время как Мельмут Кид атаковал дерево топором. Сталь как-то весело звенела, въедаясь в замерзший ствол, и каждый удар сопровождался прерывистым вздохом работающего – «Ху! – Ху!».

Наконец Киду удалось освободить из снега то жалкое нечто, что совсем недавно было человеком. Но еще страшнее боли его товарища была тупая мука на лице женщины – ее взгляд, ничего не видящий, полный надежды и безнадежного вопроса. Немного было сказано. Все, кто с Севера, с детства научаются понимать тщету слов и безмерную ценность действий. При температуре в шестьдесят пять ниже нуля человек не может пролежать долго в снегу и остаться в живых. Поэтому сани разгрузили, и несчастного, завернутого в меха, положили на кучу ветвей. Перед ним развели костер – из того же дерева, которое его погубило. Позади лежащего и отчасти над ним был устроен отражающий экран из брезента, он собирал лучи тепла и направлял их на больного – штука, которую знают все, изучавшие физику.

Люди, которые делят свое ложе со смертью, хорошо знают, когда прозвучит призыв. Мэсон был страшно изувечен. Это было ясно из самого поверхностного осмотра. Его правая рука, нога, а также спина были переломаны, все члены парализованы; не меньше были и внутренние повреждения. Только по стонам – редким и тихим – можно было догадаться, что он еще жив.

Надежды не было. И ничего нельзя было сделать. Жестокая ночь длилась – хорошая доза безнадежного стоицизма индианской расы – для Руфи, и новые глубокие борозды по бронзовому лицу Мельмут Кид. В конце концов, Мэсон страдал меньше всех: он уносился в Восточный Теннесси, в Великие Дымящиеся Горы, вновь переживая свое детство и юность. И самыми волнующими были обрывки песен давно забытого родного юга, когда он бредил о плавучих западнях, об охоте на выдру, о набегах за арбузами.

Для Руфи это был непонятный язык, но Кид понимал и переживал все – так переживал, как только может переживать человек, годами выброшенный из всего, что называется цивилизацией.

Утро привело умирающего в сознание, и Мельмут Кид наклонился к нему совсем близко, чтобы уловить его шепот.

– Помнишь, как мы собирались в Танана, – четыре года будет, когда тронется лед... Я не очень-то думал о ней тогда. А ведь она была больше для меня, чем хорошенькая, и был во всем этом... да, такой привкус восхищения, что ли. Знаешь, я только потом ее раскусил. Она была мне хорошей женой, Кид. Всегда плечо к плечу в трудную минуту. А уж что до переездов, сам знаешь, такую другую не найдешь. Ты помнишь, как она стреляла там, на Оленьих Порогах, чтобы дать время тебе и мне спуститься со скалы? Пули свистели по воде, как град, помнишь? А когда мы все голодали в Нуклукието? А когда был ледоход, а она бежала через реку за новостями? Да, она была мне хорошей женой, лучше, чем та, другая... Никогда не говорил тебе, да? Один-то раз пробовал говорить, помнишь, в Штатах? Потому же я и сюда попал. Мы выросли вместе. Я уехал, чтобы был предлог для развода. Она так и сделала.

Но все это не касается Руфи. Я надеялся все ликвидировать к будущему году и уехать на родину вместе с ней, но теперь поздно. Не отсылай ее, Кид, к ее племени. Для женщины чертовски тяжело возвращаться к своим. Ты подумай! Почти четыре года на наших бобах и на нашем сале, и муке, и сушеных фруктах – и вернуться на рыбу и оленину. Ей будет очень тяжело: узнать нашу жизнь и

наше обхождение, увидеть, что лучше, чем у своих, и в конце концов вернуться к ним. Позаботься о ней, Кид. И почему бы тебе... Впрочем, ты всегда сторонился женщин... Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок... он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь.

А если девочка... нет, этого не может быть... Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдывает... Дай ему хорошее образование... а главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае – три или четыре дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше! Помни, это моя жена, мой сын... Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

– Дай мне три дня! – взмолился Мельмут Кид. – Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, как все обернется.

– Нет.

– Только три дня.

– Уходите!

– Два дня.

– Это моя жена и мой сын, Кид. Не проси меня.

– Один день!

– Нет! Я приказываю!

– Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; я, может быть, подстрелю лося.

– Нет!.. Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу... Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней... скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, стой... надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид...

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова – признание умирающего, смирившего свою гордость.

– Прости меня... ты знаешь за что... за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа, Мельмут Кид натянул на себя парку, надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика – три жизни против одной, обреченной. Но Мельмут Кид колебался. Пять лет дружбы связывали его с Мэсоном – в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, зверь покинул страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мельмут Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, то попадая в цель, то мимо; собаки, извиваясь, метались из стороны

в сторону, яростно сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь исступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас сушеной рыбы был уничтожен, и им оставалось каких-нибудь пять фунтов муки на двести верст пути. Руфь вернулась к мужу, а Мельмут Кид освежевал еще не остывшее тело одной из собак, череп которой был раздроблен топором. Куски мяса он тщательно отобрал и спрятал, а шкуру и внутренности отдал собакам.

Утро принесло с собой новое беспокойство. Собаки набросились друг на друга. Кармен, которая все еще цеплялась за свое жалкое существование, была разорвана стаей. Кнут безостановочно колотил по их спинам. Они визжали и выли под ударами, но отказывались сдвинуться, пока не были уничтожены последние, жалкие клочки: кости, шкура, шерсть – все исчезло.

Мельмут Кид принялся за дело, прислушиваясь к Мэсону, который уже опять пребывал у себя в Теннесси, разговаривал, бешено спорил и умолял давно забытых друзей и братьев.

Воспользовавшись близостью двух молодых елок, он с помощью Руфи соорудил нечто вроде мешка, какие делают иногда охотники, чтобы сохранить мясо от волков и собак. Одну за другой он пригнул к земле и друг к другу верхушки двух молодых елок и связал их ремнями из оленьей шкуры. Затем усмирив собак и впряг их в двое саней; на них он погрузил все, что у них было, за исключением мехов, в какие был завернут Мэсон. Он замотал и обвязал этот мех плотнее вокруг тела умирающего, прикрепив за два конца к верхушкам елок. Одного удара охотничьего ножа было достаточно, чтобы отпустить вершины и бросить тело высоко в воздух.

Руфь выслушала последние приказания мужа и не сопротивлялась. Бедняжка слишком хорошо была обучена покорности. С детства она привыкла подчиняться и видела, как и все другие женщины подчинялись господам земли, и ей казалось законом природы, чтобы женщина не сопротивлялась. Кид разрешил ей одну вспышку горя, когда она целовала последний раз мужа – в ее племени так не делали, – потом отвел ее к передней запряжке и помог ей надеть лыжи. Тупо, инстинктивно она взяла кнут и веревку и «подняла» собак в дорогу. А он вернулся к Мэсону, который впал в коматозное состояние; и долго еще после того, как она скрылась из виду, он, сгорбившись у огня, ждал, надеялся, просил,

чтобы смерть сама пришла к его товарищу.

Невесело оставаться одному с тяжелыми мыслями в Белом Безмолвии. Темная тишина ночи – добрая тишина. Она точно прячет, защищает человека, касается его тысячами неосязаемых прикосновений. Но яркое Белое Безмолвие, прозрачное и холодное, под тяжестью свинцового неба, – оно безжалостно.

Прошел час. Два часа. Но человек не умирал. В полдень солнце, не поднимаясь над южным горизонтом, разбросало вспышки огня по небу и так же быстро стерло их опять. Мельмут Кид поднялся, подошел к товарищу и посмотрел на него. Белое Безмолвие насмешливо следило за ним, и ему стало невыносимо страшно. Раздался короткий выстрел, и Мэсон взлетел в свою воздушную гробницу, а Мельмут Кид пустил собак бешеным галопом.

Сын Волка

Мужчина редко умеет ценить близких ему женщин – до тех пор, по крайней мере, пока не потеряет их. До его сознания совершенно не доходят тонкая атмосфера, излучаемая женщиной, пока он сам купается в ней; но стоит ей уйти – раскрывается и растет в его жизни пустота, и им овладевает странный голод по чему-то неопределенному, чего он не умеет назвать словами. Если друзья, окружающие его, так же неопытны, как и он сам, они будут сомнительно качать головами и предложат ему серьезно лечиться. Но голод будет все расти и становиться острее; он потеряет всякий интерес к событиям ежедневной жизни и станет раздражительным. И в один из дней, когда эта пустота станет совершенно невыносимой, на него снизойдет откровение.

Когда нечто подобное происходит на Юконе, мужчина достает себе лодку – летом или запрягает собак в сани – зимой – и едет на Юг. И через несколько месяцев, если он только привязан так или иначе к Северу, он возвращается назад с женой, которая отныне будет делить его привязанность к Северу и его труд. Все это доказывает, конечно, прежде всего врожденный эгоизм мужчины. И одновременно может служить введением в описание приключений Скрэфа Маккензи, случившихся с ним очень давно, – раньше, чем страна Юкона была запружена «че-ча-квас'ами», еще тогда, когда Клондайк был известен только своими рыбосушильнями.

На Маккензи отразились его пограничное происхождение и жизнь пограничника. На лице его отпечаталось двадцать пять лет непрерывной борьбы с природой, из которых последние два года – и самые жестокие – он провел в поисках золота за пределами Полярного круга. Когда описанная выше болезнь захватила его, он нисколько не удивился, так как был человек практичный и много раз видел людей в таком же положении. Но он подавил все признаки болезни и только стал еще упорнее работать. Все лето он боролся с москитами и мок на берегу Стюарт Ривер, сплавляя лес вниз по Юкону до Сороковой Мили, и в конце концов построил себе такую комфортабельную хижину, какая только может быть сооружена в этой стране. Она выглядела настолько привлекательно и уютно, что несколько человек навязывались к нему в компаньоны, предлагая поселиться вместе. Но он наотрез отказывался и притом довольно грубо, что вполне соответствовало его сильному и решительному характеру, а сам, однако, закупил через почтовую станцию двойной запас провианта.

Скрэф Маккензи был человек практичный, как было сказано выше. Если он чего-нибудь хотел, он обыкновенно добивался своего, но при этом не отступал от ранее намеченного пути лишь настолько, насколько это было необходимо. Кровному сыну тяжелой нужды и тяжелого труда совсем не по душе было бесконечное путешествие в шестьсот миль по льду, две тысячи миль через Океан, да еще около тысячи миль до родных мест – и все это из-за какой-то одной жены. Жизнь слишком коротка для таких прогулок. Он собрал собак, погрузил в сани довольно странную поклажу и пустился напрямик между двумя водоразделами, восточные холмы которых подступали к Танане.

Он был смелым путешественником, а его собаки-волкодавы выносили на худшей пище более тяжелую работу и более длинные перегоны, чем всякая другая запряжка в Юконе. Через три недели он добрался до племени Стиксов Верхней Тананы. Те очень удивились его дерзости. За ними установилась плохая слава: говорили, что они убивают белых людей из-за такой безделицы, как хороший топор или старое ружье. А он пришел к ним безоружный, и во всем его поведении была очаровательная смесь заискивающей скромности, фамильярности, холодной выдержки и наглости. Нужно хорошо набить руку и глубоко изучить душу дикаря, чтобы с успехом пускаться в ход столь разнообразное оружие, но он был мастер своего дела и знал, когда уступить, а когда – наоборот – торговаться до иступления.

Прежде всего он отправился на поклон к вождю племени – Тлинг Тиннеху – и подарил ему пару фунтов черного чая и табака, чем и завоевал его несомненную

благосклонность. После этого он смешался с толпой мужчин и девушек и объявил, что вечером дает потлач. Утоптали овальную площадку в сто шагов в длину и двадцать пять в ширину. По центру разложили большой костер, а по обеим его сторонам набросали кучи сосновых веток. Было устроено нечто вроде трибуны, и человек сто пели песни племени в честь прибывшего гостя.

Последние два года научили Маккензи сотне слов на их наречии, и он в совершенстве перенял их глубокие гортанные гласные, их языковые конструкции, близкие японским, все их величания, приставки и пр. Он произнес речь в их вкусе, удовлетворяя их врожденную склонность к поэзии потоками туманного красноречия и образными оборотами. Ему отвечали в том же духе Тлинг Тиннех и главный шаман. Потом он раздарил всякие мелочи мужчинам, принял участие в их пении и показал себя настоящим чемпионом в игре в пятьдесят две палки.

А они курили его табак и были довольны. Но молодые держали себя несколько вызывающе – петушились, поддерживаемые явными намеками беззубых матрон и хихиканьем девушек. Им пришлось столкнуться на своем веку всего с несколькими белыми – «Сыновьями Волка», но эти немногие научили их очень странным вещам.

Маккензи, конечно, отметил этот факт, несмотря на всю свою кажущуюся беспечность. Если сказать правду, то, лежа поздно ночью в своем спальном мешке, он снова и снова обдумывал все это – обдумывал серьезно – и выкурил не одну трубку, пока не составил план кампании. Из девушек ему понравилась только одна – Заринка, дочь самого вождя. По фигуре, чертам лица, росту и объему она несколько больше других соответствовала идеалу красоты белого человека и была своего рода аномалией среди своих соплеменниц. Он возьмет ее, сделает своей женою и назовет ее – ах, он непременно назовет ее Гертрудой. Решив это окончательно, он повернулся на другой бок и сейчас же заснул, как настоящий сын своей всепобеждающей расы.

Это было сложное дело и тонкая игра, но Маккензи вел ее чрезвычайно хитро, с неожиданностью, которая озадачивала стиксов. Прежде всего он позаботился о том, чтобы внушить всем мужчинам племени, что он очень меткий стрелок и бесстрашный охотник, и вся деревня гремела от рукоплесканий, когда он подстрелил оленя на расстоянии шестисот ярдов. Однажды, поздно вечером, он отправился в хижину вождя Тлинг Тиннеха, сделанную из шкур карибу, очень много и громко говорил и раздавал табак направо и налево. Он, конечно, не

преминул оказывать всяческое внимание шаману, ибо достаточно оценил его влияние и очень хотел сделать его своим союзником. Но это высокопоставленное лицо оказалось весьма надменным, решительно отказалось умиловаться какими-либо жертвоприношениями, и с ним, видимо, приходилось считаться как с несомненным врагом в будущем.

Хотя случая подойти ближе к Заринке не представилось, Маккензи бросил в ее сторону несколько взглядов, красноречиво и нежно предупреждавших ее об его намерениях. И она, конечно, прекрасно поняла их и не без кокетства окружила себя толпой женщин, так что мужчины не могли подойти к ней: это было уже начало победы. Впрочем, он не торопился; помимо всего, он прекрасно знал, что ей все равно ничего не остается, как думать о нем, а несколько дней подобных размышлений могли только помочь ухаживанию.

В конце концов однажды ночью, когда он решил, что пришло время, он неожиданно покинул прокопченное дымом жилище вождя и вошел в соседнюю хижину. Она, как и всегда, сидела среди женщин и девушек, и все они шили мокасины и спальные мешки. При его появлении все засмеялись и громко зазвучала веселая болтовня Заринки, обращенная к нему. Но потом вышло так, что все эти матроны и девицы были самым бесцеремонным образом выставлены за дверь одна за другой, прямо в снег, где им не оставалось ничего другого, как только спешно разнести по деревне интересную новость.

Его намерения были весьма красноречиво изложены на ее языке – его языка она не знала, и по прошествии двух часов он поднялся.

– Так что Заринка пойдет в хижину Белого Человека, да? Ладно. Теперь я пойду говорить с твоим отцом, потому что он, может быть, думает иначе. И я дам ему много подарков, но пусть он не требует слишком много. А если он скажет – нет? Ладно. Заринка, значит, все-таки пойдет в хижину Белого Человека.

Он уже поднял шкуру входной двери, когда тихий возглас девушки заставил его вернуться. Она опустилась перед ним на колени на медвежью шкуру, с лицом, залитым внутренним светом – вечным светом Евы, – и застенчиво принялась развязывать его тяжелый пояс. Он смотрел на нее сверху вниз, растерянный, подозрительный, прислушиваясь к малейшему шуму снаружи. Но следующее ее движение рассеяло все его сомнения, и он улыбнулся от удовольствия. Она вынула из мешка с шитьем ножны из оленьей шкуры, красиво разукрашенные яркой фантастической вышивкой, потом взяла его большой охотничий нож,

посмотрела почтительно на его острое лезвие, потрогала его пальцем и всунула в новые ножны. Затем она надела их снова на пояс.

Честное слово, это была сцена из средневековья – прекрасная дама и ее рыцарь. Маккензи поднял ее высоко на воздух, прижимая свои усы к ее красным губам: для нее это была чужеземная ласка Волка – встреча каменного века со стальным.

В воздухе стоял невообразимый гам, когда Маккензи с толстым узлом под мышкой широко распахнул дверь хижины Тлинг Тиннеха. Дети бежали по улице, стаскивая сухие сучья для потлача, крикливая женская болтовня удвоила свою интенсивность, молодые люди совещались мрачными группами, а из хижины шамана доносились зловещие звуки заклинания.

Вождь был один со своею подслеповатой женой, но Маккензи достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что новости его уже устарели. Поэтому он начал прямо с дела, выставляя напоказ расшитые ножны как предупреждение о состоявшемся уже соглашении.

– О Тлинг Тиннех, могучий вождь племени Стиксов и всей земли Танана, повелитель лосося и волка, и оленя, и карибу! Белый Человек стоит перед тобою с великим предложением. Много лун была пуста его хижина и много ночей провел он в одиночестве. И сердце его изглодало себя в молчании, и выросла в нем тоска по женщине, которая сидела бы рядом с ним в хижине и встречала бы его, вернувшегося с охоты, ярким огнем и вкусным ужином. Странные вещи слышались ему в тишине: он слышал топанье маленьких ножек в детских мокалинах и звуки детских голосов. И однажды ночью снизошло к нему видение. И он пошел к Ворону, твоему отцу, великому Ворону, отцу племени Стиксов. И Ворон говорил с одиноким Белым Человеком и сказал ему так: «Подвяжи твои мокасины и надень твои лыжи, и положи в сани еды на много ночей, и положи в них еще красивые подарки для великого вождя Тлинг Тиннеха. Потому что ты должен теперь повернуть лицо твое в ту сторону, где весной солнце опускается за край земли, и ехать в страну этого великого вождя. Ты привезешь с собою богатые подарки, и Тлинг Тиннех – мой сын – примет тебя как отец. В хижине его есть девушка, в которую я вдохнул дыхание жизни для тебя. Эту девушку ты должен взять себе в жены».

О вождь, так говорил великий Ворон. И вот я кладу мои подарки к твоим ногам, и вот я здесь, чтобы взять твою дочь.

Старик запахнул свою меховую одежду с полным сознанием своего королевского достоинства, но ответил не сразу, так как в эту минуту вбежал мальчик и передал ему требование немедленно явиться на совет старейшин.

– О Белый Человек, которого мы прозвали Смертью Оленей и которого зовут еще Волком и Сыном Волка! Мы знаем, что ты приходишь из могущественного племени; мы гордимся таким гостем нашего потлача, но королевской лососи не пристало сходиться с мелкой лососью или Ворону сходиться с Волком.

– Нет, это не так! – воскликнул Маккензи. – В деревнях Волков я встречал не раз дочерей Ворона – жена Мортимера, и жена Тредгидю, и жена Барнаби, который вернулся после двух ледоходов, и о многих других женщинах я слышал, хотя глаза мои и не видели их.

– Сын, твои слова справедливы, но разве было что хорошее от таких встреч? Это то же, что воде сойтись с песком или снежным хлопьям сойтись с солнцем! А приходилось тебе встречать некоего Мэсона и его жену? Нет? Он приходил сюда вот уже десять ледоходов тому назад – первый из всех Волков. И вместе с ним приходил еще могучий человек, стройный и высокий, как молодой тополь, сильный, как дерзколицый медведь. И лицо у него было похоже на полную летнюю луну; его...

– О! – прервал Маккензи, узнав хорошо известную всему Северу фигуру. – Мельмут Кид!

– Он – самый могучий человек. Но не встречал ли ты женщину с ними? Она была родной сестрой Заринки.

– Нет, вождь, но я слышал о ней. Мэсон... Это было далеко, далеко на севере – старая сосна, отяжелевшая от долгих лет, раздавила его жизнь. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла это золото и взяла своего мальчика, и ехала долго-долго, несчетное число ночей, к северному полуденному солнцу. Она и теперь живет там и не страдает от мороза и снега, полуночного летнего солнца и полуденной зимней ночи.

Новый посланец прервал их, принеся от совета категорическое требование явиться немедленно. Выталкивая его за дверь, Маккензи различил неясные тени

вокруг костра совета, услышал ритмическое пение низких мужских голосов и понял, что шаман разжигает злобу народа. Надо было спешить. Он вернулся к вождю.

- Ну, я хочу взять твое дитя! И ты посмотри, посмотри сюда: вот табак, чай, много кружек сахара, теплые одеяла, платки - посмотри, какие плотные и большие. А это, видишь, настоящее ружье, и вот пули к нему, много пуль и много пороха.

- Нет, - возразил старик, видимо, борясь с искушением завладеть богатствами, разложенными вокруг него. - Ты слышишь, мой народ собрался. Они не хотят этой свадьбы.

- Ведь ты - вождь.

- Но мои юноши в большом гневе за то, что Волки берут их девушек и им не на ком жениться.

- Послушай, о Тлинг Тиннех! Раньше чем ночь перейдет в день, Волк направит своих собак к Горам Запада и еще дальше в страну Юкона. И Заринка будет впереди его собак.

- Но ранее того чем ночь дойдет до своей середины, мои юноши бросят собакам тело Волка, и его кости затеряются в снегу, пока весна не оголит их.

Это была атака и контратака. Бронзовое лицо Маккензи густо вспыхнуло. Он возвысил голос. Старая женщина, которая до этой минуты восседала равнодушной зрительницей, поползла к двери. Когда он оттащил ее и грубо толкнул на ее сиденье из шкур, он услышал, как пение сразу прекратилось и послышался гвалт многочисленных голосов.

- Еще раз я кричу тебе, о Тлинг Тиннех! Волк умирает, стиснув зубы, но с ним вместе уснут десять твоих самых сильных воинов, а они нужны тебе, потому что приближается время охоты, а за ним время рыбной ловли. И еще раз говорю тебе: какая польза от моей смерти? Я знаю обычаи твоего народа: твоя доля в моем имуществе будет очень мала. Отдай мне твое дитя - и все это будет твоим. И опять же говорю тебе: придут мои братья, а их много, их земля никогда не бывает слишком заселена - и дочери Ворона принесут детей в жилищах Волков.

Мой народ сильнее твоего народа. Так решила судьба. Согласись – и все это богатство будет твоим.

Снаружи заскрипели по снегу мокасины. Маккензи взвел курок ружья и вынул из-за пояса револьвер.

– Согласись, о вождь!

– А мой народ скажет «нет»?

– Согласись – и все это будет твоим! А с твоим народом я поговорю после.

– Волк хочет так? Хорошо, я беру его подарки, но говорю ему: берегись!

Маккензи пересмотрел еще раз приношения, посмотрел, не заряжено ли ружье, и завершил сделку калейдоскопически пестрым шелковым платком. В хижину вошел шаман с дюжиной молодцов, но Маккензи смело растолкал их и вышел на улицу.

– Собирайся! – коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее хижины, и стал поспешно запрягать собак. Через несколько минут он уже шел на совет во главе своей запряжки, и женщина была с ним. Он занял место на верхнем конце огня, рядом с вождем. По левую сторону, несколько сзади, он поставил Заринку. Это место принадлежало ей по праву, а кроме того, не худо было обезопасить себя сзади, ибо момент был очень серьезный.

На другом конце многочисленные фигуры сидели на корточках у огня, и голоса их тянули песню давно забытых времен. Это пение со странным обрывающимся ритмом и частыми повторениями не было красиво. «Жуткое» – вот какое определение было наиболее точным. На самом конце, под наблюдением шамана, плясало около десяти женщин. Он сурово укорял тех из них, которые не умели всецело отдаться экстазу обряда. Почти скрытые тяжелыми массаами черных волос, изгибая стан и словно разбитые во всех членах, они медленно раскачивались, и их тела извивались в такт беспрестанно меняющемуся ритму.

Это была дикая сцена: невероятный анахронизм. На Юге девятнадцатое столетие заканчивало последние годы своего последнего десятка, здесь

царствовал первобытный человек – тень восставшего из гроба доисторического пещерного жителя, забытый обрывок древнего мира. Желто-бурые собаки – волкодавы – лежали между своими хозяевами, одетыми в звериные шкуры, дрались из-за места, и отсветы костра отражались в их красных глазах и на оскаленных пенящихся зубах. Лес стеснился вокруг толпою неподвижно дремлющих привидений. Белое Безмолвие, отодвинутое на время в туманную глубину его, казалось, выжидало только минуту, чтобы прорваться в круг людей; звезды танцевали по небу большими скачками, как они делают это всегда в часы Великого Холода, а Духи Полюса тянули через все небо сверкающие одежды своей славы.

Скрэф Маккензи вряд ли ощущал дикое величие происходящего, переводя внимательный взгляд с одного лица на другое, вдоль ряда меховых фигур. На одно мгновение глаза его остановились на новорожденном ребёнке, сосавшем голую грудь матери, – и это при семидесяти с лишним градусах мороза. Он подумал о нежных женщинах своей расы и презрительно усмехнулся. И однако от тела вот такой нежной женщины произошёл и он сам.

Пение и пляска кончились, и шаман стал красноречиво говорить. Ловко пользуясь запутанной и обширной мифологией, он играл на доверчивости своих слушателей. Дело было серьёзное. Творческим началом, воплощенным в Вороне и в Вороне, он противопоставлял Маккензи – Волка – как начало воинственное и разрушительное. Борьба этих двух начал протекает не только в духовной сфере, нет, бороться должны люди, каждый за своего тотэма. Они – дети Джелкса Ворона, великого бога – Прометея, принесшего им огонь, а Маккензи – сын Волка, иначе говоря, сын Дьявола. Поэтому тот, кто вносит перемирие в эту вечную борьбу, кто отдает своих дочерей в жены исконному врагу, совершает гнуснейшую измену и величайшее святотатство. И не было такого резкого выражения и такого унижительного сравнения, какое шаман не употребил бы по отношению к Маккензи, изображая его как слугу и посланца сатаны. В продолжение его разглагольствований из гущи толпы слышалось сдержанное злобное рычание.

– О братья мои, велик Джелкс и всемогущ! Разве не принес он нам огонь, рожденный небом, чтобы мы могли согреться? Разве не он выпустил солнце, луну и звезды из их небесных ям, чтобы дать нам зрение? Не он ли научил нас побеждать духов Голода и Мороза? Но теперь Джелкс прогневался на детей своих, и их осталась всего одна горсть, и он не хочет уже помогать им. Потому что они забыли его и делают дурные дела и вступили на дурные пути, и

принимают врагов в свои жилища, и сажают их к своему огню. И Ворон скорбит о преступлениях детей своих. Но если они воспрянут и покажут ему, что хотят вернуться, он выйдет из тьмы и поможет им. О братья, сегодня Принесший Огонь шепнул шаману свои повеления, и вот я передаю их вам. Пусть юноши уведут девушек в свои хижины. Пусть они вцепятся в глотку Волка, и пусть бессмертной будет их ненависть, и тогда женщины их принесут плод, и они размножатся и станут великим народом. И Ворон выведет племена наших отцов и дедов из страны Севера, и они снова оттеснят Волков и обратят их в пепел прошлогодних костров. И они завладеют всей страной! Вот повеление Джелкса, великого Ворона.

Это обещание пришествия Мессии вызвало бурю восторга в рядах стиксов. Все они вскочили со своих мест. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Все требовали Лисицу и не хотели успокоиться, пока один из юношей не выступил вперед и не начал говорить.

– Братья! Мудро говорил шаман. Волки уводят наших женщин, и наши мужчины бездетны. Нас осталась какая-нибудь горсть. Волки отбирают наши теплые меха и дают взамен злых духов, запертых в бутылки, и одежды, сделанные не из шкур бобра или рыси, но из травы. И одежды эти не дают тепла, и наши воины умирают от непонятных болезней. Я, Лисица, не имею жены. А почему? Два раза уже девушки, которые нравились мне, уходили в становища Волков. Вот и теперь я собрал шкуры бобров, оленей и карибу и хотел заслужить милость Тлинг Тиннеха, чтобы жениться на дочери его, Заринке. И вот вы видите – лыжи надеты на ее ноги, чтобы идти впереди собак Волка. Я говорю не только за себя. Чего хотел я, того хотел и Медведь. Он тоже хотел быть отцом ее детей и много шкур собрал для этого. Я говорю за всех юношей, у которых нет жен. Волки жадны. Они всегда хотят получить лучшие куски. Воронам остаются одни объедки.

– Смотрите, вон Гукла, – вскрикнул он, грубо указывая на одну из женщин, которая была калекой. – Глядите, ее ноги такие же кривые, как бока березовой лодки. Она не может собирать сучья или носить за охотниками их добычу. Что же? Ее выбрали Волки?

– О! О! – кричали слушатели.

– А вот Маира, глаза которой перекошены злым духом. Даже маленькие дети пугаются при виде ее, и я слышал, что даже медведь уступает ей дорогу при

встрече. Что же? Ее взяли?

И снова раздался дикий рев одобрения.

– А вон там сидит Пишета. Она не слышит моих слов. Она никогда не слышала крика совы и голоса своего мужа, и лепета своего ребенка. Она живет в Белом Безмолвии. Посмотрели ли на нее Волки? Нет! Им нужны лучшие куски – объедки они оставляют нам!

Братья, не будет этого больше! Никогда больше Волки не прокрадутся к нашим кострам. Настало время!

Огненный столб северного сияния – пурпурно-красный, зеленый, желтый – поднялся к зениту, соединяя горизонт с горизонтом. Закинув голову и вытянув руки, Лисица указывал на небо.

– Смотрите! Это встали души отцов ваших. Великие дела совершатся сегодня ночью!

Он отступил назад, а его место нерешительно занял другой юноша, выталкиваемый вперед товарищами. Он был на целую голову выше их всех, и его широкая грудь, несмотря на сильнейший мороз, была обнажена. Он переминался с ноги на ногу. Слова застревали у него в горле, и ему было, видимо, очень не по себе. На лицо его страшно было смотреть, ибо чуть ли не половина его была когда-то снесена во время схватки. Наконец, он ударил себя в грудь сжатым кулаком, причем послышался глухой звук, как от барабана, и голос его полетел над толпой, как рев океанской пучины.

– Я – Медведь, я – Серебряное Копье и Сын Серебряного Копья. Когда мой голос походил еще на голос девочки, я уже убивал рысь, и оленя, и карибу. Когда он звучал, как голос росوماхи, попавшей в западню, я перешел через Северные Горы и убил троих с Белых Берегов, а когда он стал походить на рев Чинуки, я встретил дерзколицего медведя и не уступил ему дороги.

Он остановился и выразительно провел рукой по своему обезображенному лицу.

– Я не умею говорить, как Лисица. Язык мой замерз, как река. Я не могу говорить долго. У меня мало слов. Вот Лисица говорит, что великие дела придут сегодня ночью. Ладно! Слова бегут у него с языка, как весенние потоки, но он слишком бережлив на дела. Сегодня ночью я буду бороться с Волком. Я свалю его, и Заринка будет сидеть у моего огня. Медведь сказал.

Несмотря на то что ад поднялся вокруг него, Маккензи не сдвинулся с места. Понимая, насколько бесполезно ружье на таком близком расстоянии, он вынул оба револьвера и приготовился. Он знал, конечно, что в случае массового нападения надежды не было, но, верный своему гордому слову, готов был умереть со стиснутыми зубами. Но Медведь сдержал своих товарищей, отбросив самых дерзких назад ударами своих страшных кулаков. Когда шум немного стих, Маккензи оглянулся на Заринку. Она была изумительно хороша. Наклонившись вперед на своих лыжах, она стояла с раскрытыми губами и вздрагивающими ноздрями, как тигрица, готовая к прыжку. Ее большие черные глаза впивались в соплеменников со страхом и с вызовом. Напряжение ее было так велико, что она, казалось, перестала дышать. Одной рукой она судорожно схватилась за грудь, а в другой так же судорожно сжимала плетку, и стояла так, словно превращенная в камень. Под его взглядом она пришла в себя. Глубоко вздохнув, она отодвинулась назад, посмотрев на него глазами, в которых было нечто большее, чем любовь.

Тлинг Тиннех пытался говорить, но его заглушали. Тогда Маккензи выступил вперед. Лисица открыл было рот, чтобы крикнуть что-то, но Маккензи с такой яростью замахнулся на него, что тот отскочил назад, подавившись собственным возгласом. Его поражение было встречено шумным смехом и привело его товарищей в несколько более спокойное состояние.

– Братья! Белый Человек, которого вы хотите называть Волком, пришел к вам с ласковыми словами. Он не обманщик: он не говорил вам лжи. Он пришел к вам как друг, как тот, кто хочет быть вашим братом. Но ваши юноши говорили по-своему, и время ваших слов прошло. Прежде всего я говорю вам, что у шамана несправедливый язык, и что он лживый пророк, и что слова, которые он говорил, шептал ему не тот, кто принес Огонь. Уши шамана закрыты для голоса Ворона, и он сплетал хитрые выдумки и дурачил вас. У него нет никакой силы. Когда, помните, все собаки были убиты и съедены, когда внутренности ваши отяжелели от лохмотьев кожи и мокасинов, когда умирали старики, и умирали старухи, и умирали маленькие дети на иссохших грудях матерей, когда вся страна была во мгле и вы погибали, как лососи на берегу, – скажите, когда голод

поселился у вас, сумел ли шаман послать удачу вашим охотникам? Наполнил ли он мясом ваши желудки? И еще раз говорю я – нет силы у шамана. Вот! Я плюю ему в лицо!

Хотя все невольно отшатнулись при виде такого святотатства, шума не последовало. Некоторые женщины были сильно напуганы, а мужчин охватило возбуждение как бы в ожидании чуда. Все взгляды были направлены на две центральные фигуры. Шаман, сознавая всю опасность положения и чувствуя, что влияние его колеблется, открыл было рот, чтобы разразиться ругательствами, но отступил перед подавшейся вперед фигурой Маккензи, его поднятыми кулаками и горящими глазами. Маккензи презрительно усмехнулся и продолжал.

– Теперь я говорю Лисице и Медведю. Кажется, им понравилась эта девушка? Да? Так ведь я же купил ее раньше. Смотрите, Тлинг Тиннех опирается на ружье, и много еще другого добра лежит у его огня. Но мне хочется быть любезным с этими юношами. Лисице, у которого язык высох от лишних слов, я подарю пять длинных пачек табака. Это смочит ему язык, чтобы ему было удобнее побольше шуметь на совете. А Медведю, встречей с которым я горжусь, я дам так: одеяла – два, муки – двадцать кружек; табака – вдвое больше, чем Лисице. А если он согласится поехать со мной через Восточные Горы, я подарю еще ружье, точь-в-точь такое, как у Тлинг Тиннеха.

Маккензи улыбался, отходя на свое место, но сердце его было полно опасений. Ночь все еще длилась. Девушка подошла к нему, и он внимательно слушал, какие штуки выделывает ножом Медведь во время схватки.

Постановили решить спор поединком. Вдоль костра была утоптана площадка длиной в шестьдесят мокасинов. Много было разговоров о поражении шамана. Некоторые, впрочем, утверждали, что он просто не хотел показывать свою силу. А другие вспоминали разные случаи из прошлого и соглашались с Волком. Медведь вышел на середину площадки с длинным охотничьим ножом русской работы в руках. Лисица обратил всеобщее внимание на револьверы Маккензи. Поэтому Маккензи снял пояс, надел его на Заринку и ей же поручил свое ружье. Она покачала головой с сожалением, что не умеет стрелять: редко приходилось женщине брать в руки такие драгоценные предметы.

– Слушай, если опасность будет грозить мне сзади, крикни громко «мой муж!»
Нет, не так, еще раз: «мой муж!»

Он рассмеялся, когда она повторяла его слова, ущипнул ее за щеку и вошел в круг. Медведь превосходил его не только ростом и силой, но и нож его был длиннее вершка на два. Скрэф Маккензи много раз смотрел в глаза людей при подобных же обстоятельствах, и теперь по одному взгляду он понял, что перед ним стоит настоящий мужчина. Но отблеск огня на стали заставил его гордо и радостно вздрогнуть – отблеск стали, сердца его расы...

Снова и снова оттеснял его Медведь до линии огня или выбивал из площадки в глубокий снег, и снова и снова ловкими приемами боксера он выбирался на середину. Ни разу из толпы окружающих не услышал он одобрительного возгласа, тогда как его противника поддерживали аплодисментами, советами, предостережениями. Но он только крепче стискивал зубы при каждом звоне скрецающихся ножей, нападая и отражая удары со спокойной выдержкой сознающей себя силы. Вначале ему было как-то жаль своего противника, но потом это чувство потонуло в первобытном инстинкте самозащиты, а еще позже он уже все забыл – осталась лишь жуткая радость борьбы. Все десять тысячелетий культуры спали с него: это был пещерный дикарь, дерущийся за самку.

Два раза ему удалось задеть Медведя и благополучно вывернуться. Но на третий он попался и, чтобы спастись, должен был ухватиться за него свободной рукой: они сошлись тело с телом. Тут только почувствовал Маккензи всю ужасную силу своего противника. Мускулы его напряглись до судороги, а жилы готовы были лопнуть, и тем не менее русская сталь сверкала все ближе и ближе. Он попробовал податься назад, но этим только ослабил себя. Тесный круг меховых фигур сомкнулся еще теснее: все были уверены в развязке и не хотели упустить ни одной детали. Но вдруг Маккензи, отклонившись немного в сторону, неожиданно – боксерским приемом – ударил Медведя головой. Тот неловко откатнулся и потерял равновесие. В то же мгновение Маккензи нанес ему сильный удар и навалился на него всею тяжестью тела, отбросив за черту, в глубокий снег. Медведь вскочил, весь покрытый снегом.

– О мой муж! – голос Заринки дрожал от ужаса.

На звук спущенной тетивы Маккензи успел низко пригнуться к земле, и стрела с наконечником из рыбьей кости пролетела над его головой и впилась в грудь Медведя, который покачнулся и упал на своего припавшего к земле противника.

В одно мгновение Маккензи высвободился из-под него и уже стоял на ногах. Медведь лежал без движения, но по другую сторону костра шаман брал уже вторую стрелу.

Нож Маккензи сверкнул в воздухе. Целый сноп света прорезал темноту, когда он перелетал через костер. И шаман, из горла которого торчала теперь одна рукоятка, пошатнувшись, упал прямо в огонь.

Чик! Чик!.. Лисица завладел ружьем Тлинг Тиннеха и тщетно пытался зарядить его; услышав за собою смех Маккензи, он сейчас же поставил ружье на место.

– Та-к! Значит Лисица не умеет обращаться с этой игрушкой? Он, значит, совсем женщина? Ладно, дай его сюда, я научу тебя.

Лисица колебался.

– Дай сюда, я тебе говорю.

Лисица подошел к нему с видом побитой собаки.

– Вот, смотри: так, а потом так, – патрон вскочил на месте, и курок щелкнул.

– Лисица говорил, что великие дела совершатся сегодня ночью? Он правильно говорил. Великие дела совершились, но не много между ними было дел Лисицы. Что же, он все еще хочет взять Заринку в свою хижину? Может быть, он собирается идти по пути, который проложили для него шаман и Медведь? Нет? Ладно!

Маккензи презрительно отвернулся и вынул свой нож из горла шамана.

– Может быть, еще кто-нибудь из юношей хочет попытаться? Волк будет валить их по двое и по трое, пока не переберет всех. Нет? Ладно. Тлинг Тиннех, еще раз отдаю тебе ружье. Если когда-нибудь тебе случится быть в стране Юкона, знай, что для тебя в хижине Волка всегда найдется место у огня и много еды. Ночь переходит в день. Я уйду, но я могу еще раз вернуться.

Он казался им каким-то сверхъестественным существом, когда через толпу направился к Заринке. Она встала на свое место во главе запряжки, и собаки тронулись. Через несколько минут лес призраков поглотил их. Маккензи выждал, пока они скроются, и только тогда надел лыжи.

– А разве Волк забыл о пяти длинных пачках?

Маккензи с досадой обернулся к Лисице, но положение было слишком комично.

– Я дам тебе одну... короткую.

– Как Волк захочет, – покорно ответил Лисица, протягивая руку.

На Сороковой Миле

Когда Джим Белден Большой довольно легкомысленно высказал безобидное с виду предположение, что крупчатому льду это «вполне свойственно», он совершенно не представлял себе, что из этого выйдет. Точно так же и Лон МакФэн, когда утверждал, что якорный лед «всегда так». Да и Бэттлс не предвидел ничего особенного, когда не согласился и заявил, что такого льда не существует вовсе и все это одна брехня.

– И это ты говоришь мне! – закричал Лон. – Когда мы уже не первый год здесь! И когда столько дней мы едим с тобой из одного горшка!

– Но ведь эта штука противоречит здравому смыслу, – настаивал Бэттлс. – Ты рассуди. Ведь вода теплее льда...

– Разница-то невелика.

– Ну все-таки теплее, если не замерзла. А ты говоришь – намерзает на дно.

– Только якорный лед, Дэвид, только якорный. И разве ты никогда не видел, как он скопляется? Вода прозрачная, как стекло, и вдруг, как облачко, комочки

булькают и выплывают и выплывают, пока вся река не закроется от берега до берега, точно выпавшим снегом.

– Гм! Гм! Пожалуй, и со мной так случилось, когда, бывало, клюкнешь малость у руля. Только все это булькало из соседней бутылки, а вовсе не из-под воды...

– И ты никогда не видел его на руле? Ни одной крошечки?

– Нет. Да и ты не видел. Это противоречит здравому смыслу. Это тебе скажет всякий.

Бэттлс обращался ко всем, сидящим вокруг огня, но все его доказательства предназначались для Лона Мак-Фэн.

– Здравый там или не здравый, а я тебе дело говорю. Последний раз, когда была низкая вода – год тому назад, я видел эту штуку вместе с Ситкой Чарлеем, когда мы спускались вниз по реке, ты помнишь – пониже Форта Надежды. Была осень, все как следует: солнце на золотых лиственницах и на осинах и в каждой струйке – солнце. И тут уж и зима, и синий туман с Севера – все вместе. Ты и сам это видел: когда бахрома льда по берегу и воздух звонкий и искрится, и ты чувствуешь его, ну, через все тело, и с каждым глотком прибавляется тебе жизни. Вот тут-то, милый мой, мир всегда кажется совсем маленьким, и такая, знаешь, непоседливость хватает тебя за пятки...

Ну вот, мы, значит, едем. Как я уже сказал, бахрома по берегу, а больше льда нигде, как вдруг индеец поднял весло и кричит: «Лон Мак-Фэн! Смотрите, смотрите туда! Хотя я и слышал об этом, а видать еще не видал!» Как вы знаете, ни Ситка Чарлей, ни я родились не здесь, ну, значит, обоим было внове. Мы и повисли по обеим сторонам лодки и глядим в воду. Ну так вот, я тебе говорю, совсем то же, что я видел, когда ловил жемчуг. Там только кораллы росли так со дна – целыми лесами и садами. Вот это и был якорный лед: он облепил все подводные камни и поднимался вверх, как белые кораллы.

Но самое удивительное зрелище было впереди. Когда мы проехали рифы, вода стала вдруг молочного цвета, и вся поверхность покрылась сразу, ну, такими кружками. Весной, когда рыба играет, бывает так, или еще когда идет дождь. Это поднимался якорный лед. И вправо, и влево, и далеко вокруг вода была такая же. А вокруг лодки была точно каша из льда или густая похлебка.

Облепила борта, облепила весла. Много раз до этого я переезжал через пороги и много раз после – и никогда не видел ничего подобного. Только раз в жизни и видел.

– Говори, тоже! – сухо заметил Бэттлс. – Думаешь, поверю такому вздору? Скорее всего солнце испортило тебе глаза или осенний воздух сегодня укусил за язык.

– Собственными глазами я видел это, и, если бы Ситка Чарлей был здесь, он поддержал бы меня.

– Но факты остаются фактами, и никак ты их не обойдешь. Это противоречит законам природы – чтобы вода замерзала не сверху!

– Но мои же собственные глаза...

– Только не горячись, пожалуйста, – остановил его Бэттлс, видя, что вспыхивающая кельтская кровь товарища начинает уже бурлить.

– Значит, ты мне не веришь?

– Если ты так, черт возьми, уперся, что и слушать ничего не хочешь, то вот и не верю: я прежде всего верю законам природы и фактам.

– Так что же, я вру, по-твоему? – загремел Лон. – Ты спроси-ка лучше свою сивашку, пусть она тебе скажет, правду я говорю или нет.

Бэттлс весь вспыхнул. Ирландец невольно задел его. Жена его была наполовину белая – дочь русского купца-меховщика – и венчались они в православной Миссии в Нукато, – тысячу верст вниз по Юкону, – она была более высокого происхождения, чем обыкновенные сивашки и местные женщины. Все это были, конечно, такие тонкости, которые понятны только жителям Севера.

– Все врешь! Теперь я вижу, – заявил Бэттлс решительно.

В ту же минуту Лон Мак-Фэн швырнул его на пол, а шесть человек, сидевших вокруг огня, бросились разнимать их.

Бэттлс поднялся, вытирая кровь вокруг рта.

- Это для меня не новость, только ведь удар за удар. Ты не подумал, что придется расплачиваться?

- Никогда ни один человек меня лгуном не называл. И так плохи мои дела еще никогда не были, чтобы долгов не платить. Так или иначе, как хочешь.

- У тебя по-прежнему 38,55[1 - Калибр револьвера. (Прим. пер.)]?

Лон кивнул.

- Ты бы лучше раздобыл более подходящий, а то мой прошибет через тебя дырки, что твой грецкий орех.

- Не беспокойся, пожалуйста; у моих пуль нюх-то хороший тоже. А где и когда прикажешь ждать тебя? У проруби место великолепное, не правда ли?

- Неплохо. Будь там через час, и тебе не придется сидеть в ожидании.

Оба надели рукавицы и вышли из хижины, не обращая внимания на возражения товарищей. Все вышло из-за пустяка. Но у людей упрямых и необузданных из пустяков часто вырастают весьма крупные последствия. А кроме того, обитатели Сороковой Мили, запертые полярной зимой, испортили себе пищеварение чрезмерной едой и вынужденным бездействием и стали раздражительными – совсем как пчелы в конце года, когда их ульи переполнены медом.

Никаких законов здесь не было. Конная полиция тоже еще была делом будущего. Каждый сам оценивал обиду и сам назначал наказание, соответствующее степени его раздражения. Редко приходилось прибегать к совместным действиям, и ни разу за всю жизнь поселка не была нарушена восьмая заповедь.

Джим Белден Большой созвал импровизированный митинг. Скрэфа Маккензи выбрали председателем и послали за отцом Рубо. Положение было довольно трудное, и они понимали это. Они, разумеется, могли бы силой предотвратить дуэль, и это было как раз то, чего они хотели, но такая мера противоречила бы

их убеждениям. Несмотря на то, что их примитивная этика признавала за каждым право отвечать на удар ударом, они не могли вынести мысли, что такие два товарища, как Бэттлс и Мак-Фэн, будут драться на смерть. Они, конечно, назвали бы трусом человека, который бы не принял вызова, но и согласие его им тоже казалось неправильным.

Топот мокасинов, громкие крики и пистолетный выстрел прервали их прения. Дверь отворилась, и вошел Мельмут Кид с дымящимся револьвером в руке и веселой усмешкой в глазах.

- Попал. - Он заменил пустой патрон и прибавил: - Уложил твою собаку, Скрэф.

- Желтого Клыка? - спросил Маккензи.

- Нет. Ту, вислоухую.

- Черт тебя дери! Эту-то с чего?

- Выйди и посмотри.

- Впрочем, может, и хорошо в конце концов. Он, пожалуй, их всех перекусал. Сегодня утром вернулся Желтый Клык, и его вырвало, во-первых, а, во-вторых, он чуть не сделал меня вдовцом. Прыгнул на Заринку - только она его здорово отделала, хотя и сама тоже хорошо получила. Тогда он опять убежал в лес. Надеюсь, и не вернется. А ты многих потерял?

- Одну, но зато самую лучшую, Шукума. Стал кидаться на всех сегодня утром, налетел, как сумасшедший, на запряжку Ситки Чарлея, ну, а те его мигом разорвали. А теперь две из них взбесились и тоже убежали. Немного у нас останется собак на весну, если мы ничего не придумаем.

- Да и людей не больше.

- А что такое? Что случилось?

- Да вот у Бэттлса и Мак-Фэна вышло недоразумение, и они разрешают его сейчас у проруби.

Весь инцидент ему подробно рассказали, и Мельмут Кид, привыкший к повиновению товарищей, взял на себя уладить дело. Он быстро составил план действий, и все обещали точно выполнить его.

– Видите ли, – закончил он, – мы не можем и не должны лишать их права драться. Но я не думаю, чтобы им захотелось драться после того, как они увидят все прекрасные последствия этого. Жизнь – игра, а люди – игроки. Они готовы ставить полную ставку, даже при расчете один на тысячу. Но отнимите у них эту ничтожную надежду – и они не захотят играть. – Потом он обратился к заведующему складом: – Пожалуйста, отмерь нам три сажени хорошей манильской полудюймовки.

Мы установим сегодня хороший прецедент, который останется у жителей Сороковой Мили на вечные времена, – обещал он. Затем он намотал веревку на руку и отправился с товарищами к проруби, чтобы вовремя захватить противников.

– А какое право он имел, черт возьми, трогать мою жену? – гремел Бэттлс в ответ на дружеские увещевания. – Нечего было ее трогать, нечего было ее трогать, – повторял он упрямо, шагая взад и вперед в ожидании Лона Мак-Фэна.

А Лон Мак-Фэн, с красным лицом и заплетающейся речью, поднял целое восстание против Церкви.

– Ладно, отец! – кричал он. – В таком случае я с легким сердцем завернусь в огненное одеяло и лягу на постель из раскаленных угольев. Но никогда и никто не скажет, что Лон Мак-Фэн проглотил оскорбление и даже руки не поднял в защиту. И не надо мне вашего вечного блаженства. И просить не буду. Тяжелая у меня была жизнь, но сердце всегда было на месте, вот что.

– Только не сердце, Лон, – возразил отец Рубо. – Это гордость толкает тебя на то, чтобы убить ближнего.

– Французские тонкости, – ответил Лон. И потом, собираясь уже отойти, прибавил: – А панихиду будете служить, если мне не повезет?

Священник только улыбнулся и занял место впереди. Все ринулись за ним на широкую грудь молчаливой реки. Утоптанная маленькими санками тропинка вела к проруби. По обе стороны лежал глубокий нежный снег. Люди шли друг за другом и не разговаривали, а присутствие священника, одетого в черное, придавало шествию торжественный вид похоронной процессии. Это был теплый день для Сороковой Мили. Небо, переполненное своею тяжестью, ближе наклонилось к земле, а ртуть поднялась на необычайную высоту – двадцать ниже нуля. Но ничего радостного не было в этом тепле. Воздух был тяжелый, а облака висели неподвижно, обещая ранний снег. И земля, погруженная в свою спячку, относилась к этому совершенно равнодушно.

Когда дошли до проруби, Бэттлс, который во время пути, очевидно, еще раз вспомнил всю ссору, выпалил последний раз свое – «нечего было ее трогать», а Лон Мак-Фэн злобно молчал. Возмущение душило его, и он не мог говорить.

Несмотря на то что оба противника были очень заняты своими обидами, их очень удивляло поведение товарищей. Они ожидали насильственного вмешательства, и такое молчаливое разрешение почти оскорбляло их. Как будто они могли рассчитывать на нечто большее со стороны людей, с которыми так сжились, и в их душе поднималось неясное чувство обиды: друзья идут сюда, как на какое-то парадное представление, и станут смотреть – без одного слова протеста – на то, как они убьют друг друга. Как будто они уже потеряли всякую ценность в глазах коммуны. Все происходящее совершенно озадачивало их.

– Ну, спиной к спине, Дэвид. И какое вы хотите расстояние? Пятьдесят или вдвое?

– Пятьдесят, – был злобный и короткий ответ.

Но вдруг свежая веревка, отнюдь не выставляемая напоказ, а просто обмотанная вокруг руки Мельмут Кида, привлекла внимание ирландца и вызвала в нем неопределенную тревогу.

– А на что тебе веревка?

– Ну, живее, – Мельмут Кид посмотрел на часы. – У меня тесто поставлено, и я вовсе не хочу, чтобы оно перекисло. Да и ногам холодно.

Все остальные тоже на все лады выказывали нетерпение.

– Но все же веревка-то зачем, Кид? Она совсем новая, и я думаю, что твой хлеб не такой уже и тяжелый, чтобы его поднимать веревкой.

Бэттлс оглядывался по сторонам. Отец Рубо, чувствуя, что комизм положения захватывает его, закрыл лицо рукавицей.

– Нет, Лон. Эта веревка не для хлеба, а для человека. – Мельмут Кид умел производить впечатление, когда это было нужно.

– Какого человека? – Бэттлс почувствовал вдруг ко всему происходящему какой-то интерес.

– Для второго.

– Для какого второго?

– Послушай, Лон, и ты тоже, Бэттлс. Мы поговорили тут немножко о ваших глупостях и решили вот что. Мы знаем, что остановить вас не имеем права...

– Я думаю, милый мой!

– Мы и не собирались. Но одну вещь мы можем сделать. Не только можем, но и должны. Мы должны сделать, чтобы эта дуэль осталась единственной в истории Сороковой Мили и чтобы это было на вечные времена уроком для всех «че-ча-квас'ов», какие едут вверх или вниз по Юкону. Тот из вас, кто останется в живых, будет повешен на ближайшем дереве. А теперь можете начинать.

Лон подозрительно усмехнулся, но потом лицо его просветлело, и он воскликнул:

– Отмеривай, Дэвид, пятьдесят шагов! И мы будем стрелять, пока кто-нибудь не упадет по-настоящему. Они не посмеют этого сделать! Это просто так, шуточки янки!

Он занял свое место с веселой улыбкой на лице, но Мельмут Кид остановил его.

– Лон, ты меня давно знаешь?

– Да, порядочно.

– А ты, Бэттлс?

– В высокую воду, в июне, будет пять лет.

– А было ли хоть раз за все это время, чтобы я не сдержал своего слова? И говорил ли вам это кто-нибудь?

Оба покачали головами, поглядывая на веревку, которая лежала рядом.

– Ладно. Так если я вам обещаю что-нибудь, вы поверите?

– Поверю, как твоей подписи, – сказал Бэттлс.

– Поверю, как в спасение души и во все святые слова, – прибавил поспешно Лон Мак-Фэн.

– Так слушайте! Я, Мельмут Кид, даю вам мое слово, – а вы знаете, что это значит, – что тот из вас, который не будет застрелен, повиснет вот на этой веревке ровно через десять минут после своего выстрела.

И он отошел назад, как Пилат, умывающий руки.

Все молчали. Небо опустилось еще ниже, и на землю полетели тонкие иглы мороза – правильные геометрические фигурки, нежные и легкие, как дыхание, но которые будут лежать всю долгую полярную зиму, пока не вернется солнце. У обоих в прошлом было зарыто много разбитых надежд, зарыто с проклятием или с насмешкой, но в душе всегда оставалась все же вера в бога – в Фортуну. Но эта милая усердная богиня была на этот раз исключена из игры. Они внимательно изучали лицо Мельмута Кида, но оно было так же таинственно, как лицо Сфинкса. Когда прошло несколько минут, все почувствовали, что надо заговорить. Наконец, молчание было прервано воем собаки со стороны Сороковой Мили. В этом диком вое был какой-то невероятный пафос отчаяния, потом он перешел в

протяжное рыдание и постепенно замер.

– Охота рисковать, тоже! – Бэттлс поднял воротник своей куртки, растерянно выглядывая из него во все стороны.

– Великолепно сыграно, Кид! – воскликнул Лон Мак-Фэн. – Вся выгода банкometу, а играющим ни шиша! Да? Самому дьяволу так не сыграть, и черт меня возьми, если я ввяжусь в это!

На обратном пути, пока взбирались на обледенелый берег и шли по улице до Поста, нет-нет да и раздавались подозрительные покашливания, вроде застрявших в горле смешков, и все почему-то очень часто мигали, смахивая свет с ресниц. И вдруг снова раздался вой собаки, но уже совсем близко, и в нем были новые, угрожающие ноты. Какая-то женская фигура выскочила из-за угла. Кто-то крикнул: «Вот он, вот!» Индианский мальчик, окруженный полдюжиной перепуганных собак, задыхаясь, бежал к ним со всех ног. А позади всех, оцетинившись, несся серой молнией Желтый Клык. Все бросились бежать, кроме американца. Мальчик споткнулся и упал. Бэттлс остановился на мгновение, схватил его за шиворот и бросился к штабелям дров, куда уже взобрались некоторые из его товарищей. Желтый Клык, преследуя одну из собак, тоже повернул назад. Обезумевшее от страха животное сбilo Бэттлса с ног и понеслось по улице. Мельмут Кид выстрелил. Желтый Клык перевернулся в воздухе, опрокинулся на спину, вскочил и одним прыжком бросился на Бэттлса.

Но этот роковой прыжок был предупрежден Лоном Мак-Фэном, который соскочил с дров и перехватил собаку на лету. Оба покатались в снег. Лон крепко держал животное за горло на вытянутых вперед руках, а все лицо его и глаза были залиты брызгами вонючей собачьей слюны. Наконец Бэттлс, спокойно с револьвером в руке выжидавший подходящего момента, закончил схватку.

– Вот это была настоящая игра, Кид, – заметил Лон, поднимаясь на ноги и стряхивая снег с рукавов. – Тут и я заработал недурной процент.

Ночью, когда Лон Мак-Фэн, стосковавшись о всепрощающих объятиях Церкви, устремился в хижину отца Рубо, Мельмут Кид долго еще обсуждал случившееся.

– Да разве бы ты сделал? – приставал Маккензи. – Ну, предположим, они бы стреляли?

– А разве я когда-нибудь изменял своему слову?

– Нет-то нет, да я не об этом. Ты мне отвечай на вопрос. Мог бы ты или нет?

Мельмут Кид встал.

– Знаешь, Скрэф, я все время сам задаю себе этот вопрос и вот...

– Ну?

– Ну и вот – до сих пор ничего не мог ответить.

В далекой стране

Когда человек решается ехать в далекую страну, он должен быть готовым забыть очень многое из того, чему его учили с детства, и, наоборот, усвоить многие новые привычки, соответствующие новым условиям жизни; он должен оставить старые идеалы и старых богов и очень часто даже перевернуть вверх дном весь моральный кодекс, каким до этого времени руководствовался. Для людей, обладающих приспособляемостью простейших организмов, новизна такой перемены доставляет даже наслаждение; но для тех, кто уже окончательно сформировался в определенной среде, гнет изменившихся условий жизни совершенно невыносим; они сгибаются и душой и телом от непредвиденных лишений, принять которые они не могут, и этот надлом, связанный всегда с попытками противодействия, часто является для них источником самых разнообразных несчастий. Для таких лучше всего, конечно, как можно скорее вернуться опять на родину, затяжка неминуемо приведет их к гибели.

Человек, отказавшийся от европейской цивилизации и вставший лицом к лицу с первобытной простотой Севера, может рассчитывать здесь на успех в отношении, обратно пропорциональном качеству и количеству своих

безнадежно укрепившихся привычек. Если он из «подающих надежды», то, конечно, скоро заметит, что материальные удобства почти несущественны. В конце концов, замена изысканного меню грубой пищей, жестких башмаков – мягкими бесформенными мокасинами или пружинной постели – ямой в снегу – просто пустяк. Гвоздем обучения будет умение по-новому подойти ко всем вещам, но прежде всего к людям – своим товарищам. Прежняя выдержанная «воспитанность» должна будет уступить место прямоте, бескорыстию и терпимости. Этим, и только этим, он сможет добыть себе бесценную жемчужину – подлинные товарищеские отношения. Ему незачем будет говорить на каждом шагу «спасибо»; ему совсем не нужно раскрывать рта, и свою благодарность он должен доказать только на деле. Короче говоря, во всем действие должно будет заменить слово и смысл – вытеснить букву.

Когда весть о полярном золоте облетела весь мир и соблазн Севера ущемил все человеческие сердца, Картер Уэзерби бросил свое насиженное место клерка, перевел половину своих сбережений на жену, а на остальное купил себе все необходимое для путешествия. По своей натуре он вовсе не являлся романтиком – романтизм был окончательно задавлен в его душе долголетней близостью к коммерческим операциям. Он просто устал от бесконечных трений на службе и надеялся, кроме того, хорошо заработать. Как и многие другие глупцы, он пренебрег путем старых пионеров Севера и в начале весны отправился в Эдмонтин; там, на свою беду, он связался с партией золотоискателей.

Собственно, ничего особенного в этой партии не было, за исключением разве ее планов. Целью ее, как и обычно, был Клондайк. Но дорога, какую они спроектировали по карте для достижения этой цели, положительно перехватывала дух у самых смелых туземцев, выросших среди опасностей и превратностей этого края. Даже Жак Баптист, сын туземной женщины из племени Чиппева и какого-то французского бродяги (он родился в хижине из оленьих шкур севернее шестьдесят шестой параллели и был выкормлен на соске из сырого сала) – даже Жак Баптист, хотя и нанялся ехать до линии вечного льда, все-таки с сомнением качал головой, когда спрашивали его совета.

Несчастливая звезда Перси Кёсферта, очевидно, стояла в своем апогее, когда он тоже присоединился к компании аргонатов. Он был очень обыкновенный человек, у которого размеры текущего счета в банке вполне соответствовали его культурным потребностям, а этим сказано очень много. Собственно говоря, у него не было никакого основания пускаться в такую авантюру, решительно никакого, за исключением, впрочем, чрезмерно развитого воображения, которое

он принимал за прирожденный романтизм и жажду приключений. Очень и очень многие люди впадают в ту же роковую ошибку.

С первым дыханием весны партия двинулась по реке Элк-Ривер, вслед за тронувшимся льдом. Это была основательная флотилия, хорошо снабженная провиантом и сопровождаемая целой стаей так называемых «вожеров», т. е. бродяг-метисов с их женами и детьми. Изю дня в день всем приходилось работать на лодках и челноках, бороться с москитами и всякими другими паразитами, обливаться потом и ругаться на переправах. Тяжелая работа всегда обнажает человеческую душу, и еще прежде чем озеро Атабаска осталось к югу, каждый из них успел показать себя во всем разнообразии своей окраски.

Картер Уэзерби и Перси Кёсферт оказались обжорами, лентяями и вечно ноющими брюзгами. Вся партия в целом меньше жаловалась на болезни и усталость, чем каждый из них в отдельности. Ни разу не случилось, чтобы они сами вызвались выполнить что-нибудь из тысячи и одной мелких обязанностей, какие неизбежны в пути. Если надо было принести ведро воды, лишнюю охапку дров, вымыть и вытереть посуду или перерыть багаж, чтобы найти ту или иную внезапно понадобившуюся вещь, эти прекрасные экземпляры цивилизации находили у себя вывихи, нарывы или другие заболевания, требовавшие всеобщего и неотложного внимания. Вечером они первыми уходили с работы, часто бросая ее неоконченной, а утром выходили последними – как раз перед завтраком. Они первыми садились за стол и были последними в приготовлении обеда; они первыми тянулись к чему-нибудь вкусному и никогда не замечали, что забирали чужую порцию. Когда их сажали на весла, они просто обмакивали их в воду, предоставляя лодке плыть по течению. Они думали, что никто этого не замечает, но товарищи ругали их сквозь зубы, а Жак Баптист открыто издевался над ними и посылал их к черту с утра до вечера. Впрочем, Жак Баптист не был, конечно, джентльменом.

На Большом Невольничьем озере закупили собак с Гудзонова залива и также погрузили их в лодки вместе с запасом сушеной рыбы и другими заготовками. Челноки и лодки, увлекаемые быстрым течением Маккензи, скоро доплыли до земли Баррена.

После Большого Медвежьего озера «вожеры», испуганные приближением совсем неведомых для них стран, стали сбегать один за другим, а когда экспедиция достигла Форта Доброй Надежды, то сбежали уже последние и самые смелые, пустившись назад по течению реки, которой они было так

необдуманно доверились. Остался один Жак Баптист. Разве он не дал слова довести их до вечного льда?

От карт теперь уже не отрывались, но они оказались неточными, составленными от руки, кое-как, по слухам. Между тем надо было поторапливаться, так как летние солнцестояния уже кончились и надвигалась зима. Проплыв вдоль берега залива, через который Маккензи впадает в океан, они вошли в устье Малого Пиля. Тут начался тяжелый подъем – вверх по течению, и оба «нетрудоспособные» вели себя еще хуже, чем всегда.

Буксирный канат, и багры, и весла, и опять багры, и мели, и пороги, и переправы посуху – все эти мучения внушили одному из них полное отвращение к рискованным коммерческим операциям и раскрыли другому всю истинную ценность романтизма и необыкновенных приключений. В один прекрасный день они решительно взбунтовались и отказались работать, а когда Жак Баптист изругал их самыми последними словами, поползли прочь и хотели спрятаться. Но метис избил обоих и – окровавленных – снова поставил на работу. И тот и другой первый раз в жизни испытали, что такое насилие и побои.

Провозившись достаточно на порогах Малого Пиля, путешественники употребили остаток лета на переправу через водораздел между Маккензи и Вест-Рэтом. Эта маленькая речонка впадает в Паркюпайну, а та в свою очередь в Юкон, в том месте, где Великий северный путь пересекает Полярный круг. Но тут они были неожиданно застигнуты зимой: в один прекрасный день их лодки были затерты льдом, и им пришлось спешно переносить на берег весь багаж. В эту ночь река несколько раз замерзала и снова ломала лед; на утро она стала окончательно.

– Мы не можем быть более чем в четырехстах милях от Юкона, – решил Слонер, измеряя ногтем большого пальца расстояние по карте. Заседание совета, на котором оба «нетрудоспособные» вволю нахныкались, подходило к концу.

– Пост Гудзонова залива далеко позади. Больше постов не будет. Отец Жака Баптиста бывал здесь по делам мехопромышленной компании и даже отморозил себе два пальца на ногах.

– Черт тебя дери! – воскликнул кто-то из партии. – Неужели так и не встретим белых?

– Нет, белых больше не будет, – подтвердил назидательно Слонер. – Но от Юкона до Даусона всего пятьсот миль, а отсюда – добрая тысяча, пожалуй.

Уэзерби и Кёсферт ахнули в один голос.

– А сколько же времени понадобится на это, Баптист?

Метис подумал с минуту.

– Если будем работать, как в аду, и никто не будет отставать, – двадцать, сорок, пятьдесят дней. А если эти грудные младенцы потащатся с нами (он указал на «нетрудоспособных»), ничего не могу сказать. Может быть, когда ад промерзнет насквозь, а быть может, – и еще дольше.

Приготовили лыжи и мокасины. Кликнули одного из товарищей, который вышел из избушки, стоявшей неподалеку от костра. Эта избушка была одной из многочисленных тайн Севера. Кто построил ее и когда? Никто не знал этого. Перед ней были две могилы с высокими кучами камней, и в них, возможно, была погребена тайна несчастных путешественников. Но кто закрыл камнями эти могилы?

Решительный момент наступил. Жак Баптист оставил на минуту возню с запряжкой, привязав непослушную собаку. Дежурный по кухне, молчаливо протестуя против перерыва в своей работе, бросил кусок сала в дымящийся котелок с бобами и подошел ближе. Слонер поднялся. Его фигура представляла смешной контраст с упитанными телами «нетрудоспособных». Желтый и слабый, приехавший из какой-то лихорадочной местности Южной Америки, он был неутомим в своих вечных скитаниях и на работе не отставал от других. Он весил, вероятно, не более девяноста фунтов, если считать вместе с охотничьим ножом, а его поседевшие волосы говорили, что весна к нему уже не вернется. Молодые упругие мускулы Уэзерби и Кёсферта были, вероятно, раз в десять больше, чем его, по объему, однако он мог бы загнать их обоих до смерти за один день пути. Весь последний день он подбивал своих более сильных товарищей на этот тысячемильный, невообразимо трудный путь. Он был воплощением своей беспокойной расы, и тевтонское упрямство, соединенное с быстрой хваткой и предприимчивостью янки, помогало ему держать тело в полном подчинении духу.

– Пусть все, кто согласен продолжать путь на собаках, как только лед станет окончательно, скажет да!

– Да! – воскликнуло восемь голосов – восемь голосов тех, кто отлично сознавал все трудности и лишения на протяжении многих сотен верст мучительного пути.

– Кто против?

– Я, я! – первый раз оба «нетрудоспособные» были абсолютно заодно, и при том без малейшего нарушения личных интересов.

– И что вы с этим поделаете? Скажите, пожалуйста? – прибавил Уэзерби вызывающим тоном.

– По большинству! По большинству! – кричали остальные.

– Я знаю, конечно, что экспедиция может и не удастся, пожалуй, если вы не пойдете с нами, – очень мягко заметил Слопер. – Но я надеюсь, что если мы все наляжем из последних сил, то, может быть, и обойдемся без вас как-нибудь. Что скажете, ребята?

Одобрительный гул был ответом.

– Но вот, видите... – озабоченно произнес Кёсферт. – Что же мне, собственно, тогда делать?

– Так вы не идете с нами?

– Н-нет.

– Тогда делайте, черт возьми, все, что вам угодно. Это нас не касается.

– Вычисляйте там и решайте вместе с вашим великолепным партнером, – прибавил тяжеловесный Вестернер, указывая на Уэзерби. – Когда придет время готовить обед или идти за дровами, он присмотрит, конечно, чтобы вы не сидели без дела.

– Значит, решено, – заключил Слопер. – Завтра утром мы снимаемся и первую передышку делаем в пяти милях отсюда, чтобы привести все в окончательный порядок и убедиться – не забыли ли чего.

На другой день сани уже скрипели железными полозьями, а собаки налегли на постромки, для которых они родились и в которых должны были умереть. Жак Баптист остановился рядом со Слопером, чтобы еще раз посмотреть на хижину. Из трубы ее жалостно поднимался серый дымок. Оба «нетрудоспособные» стояли у дверей.

Слопер положил руку на плечо товарища.

– Жак Баптист, слышал ты когда-нибудь о килкенских котях?

Метис покачал головой.

– Так вот, друг ты мой, эти килкенские коты дрались до тех пор, пока от них не осталось ни шкуры, ни мяса, ни когтей – ничего! Понимаешь, – совсем ничего. Ладно. Теперь так. Эти двое работать не любят. И они не будут работать. Это мы все знаем. И вот они останутся вдвоем в этой хижине на всю зиму – очень долгую, очень темную зиму. Килкенские коты – а?

Француз в Баптисте пожал плечами, но индеец ничего не сказал. Впрочем, это движение плеч было достаточно красноречивым и почти пророческим.

Первое время в хижине все шло как по маслу. Грубые шутки товарищей заставили Уэзерби и Кёсферта сознательнее отнестись друг к другу и к своим обязанностям. Да, в конце концов, для двух здоровых людей работы было совсем немного. А возможность избавиться от побоев «собаки-метиса» вполне радовала их. Первое время каждый из них старался перещегоолять товарища, и они исполняли все свои несложные обязанности с таким рвением, что товарищи, изнывавшие в это время на трудном пути, вероятно, широко раскрыли бы глаза от удивления.

Ничего трудного и страшного не предвиделось. Лес, обступивший их с трех сторон, был неисчерпаемым запасом топлива. В нескольких шагах от хижины

протекала Паркюпайна и, прорубив ее зимний покров, легко было достать кристально чистую, текучую воду. Впрочем, даже такое несложное дело скоро им надоело. Прорубь упорно замерзала, и приходилось часами обивать этот противный лед. Неизвестные строители хижины сделали сбоку нечто вроде кладовой для хранения запасов. Здесь и был сложен весь провиант, оставленный им товарищами. Пищи оказалось достаточно – без преувеличения хватило бы, чтобы откормить троих. Впрочем, в основном она была довольно грубая и не очень-то вкусная. Но сахара, во всяком случае, было вполне достаточно для двух нормальных людей; к несчастью, в этом отношении эти двое были скорее похожи на детей. Они не замедлили сделать открытие, что горячая вода, хорошо сдобренная сахаром, вещь очень недурная, и усердно поливали ею свои яблочные оладьи и мочили в ней корки хлеба. И, конечно, кофе, чай и в особенности сухие фрукты тоже поглощали основательное количество сахара. Первое их столкновение произошло поэтому в связи с сахарным вопросом. А это вещь очень серьезная, когда двое людей, которым не уйти друг от друга, начинают ссориться.

Уэзерби любит потолковать о политике, тогда как Кёсферт, который всю жизнь только стриг купоны, предоставляя неизвестным силам заботиться об их ценности, ничего решительно не понимал в этом деле и отшучивался эпиграммами. Но клерк был слишком туп, чтобы оценить остроумие товарища, и напрасная трата красноречия раздражала Кёсферта. Он привык блистать в обществе, и полное отсутствие подходящей аудитории заставляло его почти страдать. Он чувствовал в этом какое-то личное оскорбление и бессознательно обвинял своего тупоголового товарища.

За исключением еды и других примитивных хозяйственных вопросов, у них не было решительно ничего общего – ни на одном пункте они не могли сойтись. Уэзерби был всю жизнь клерком и не знал, и не понимал ничего другого. Кёсферт – знаток в искусстве – сам писал масляными красками и не чужд был литературе. Первый был невысокого полета и считал себя джентльменом – второй был, действительно, джентльмен и сознавал это. Следует, впрочем, заметить, что человек может быть настоящим джентльменом и не иметь ни малейшего понятия о чувстве товарищества. Клерк был настолько же чувствительным, насколько его товарищ эстетом, и его любовные похождения, по большей части выдуманные, – которые он любил размазывать на все лады, – производили на утонченного любителя искусства такое же впечатление, как аромат сточных труб. Он считал клерка грубым, нечистоплотным животным, которому место разве только в грязи вместе со свиньями, и при случае сообщил ему об этом. Тогда он услышал в ответ, что он сам желторотый сосун и паразит.

Уэзерби не сумел бы объяснить, что он понимает под словом «паразит», но оно чем-то его удовлетворяло, а этого ему было вполне достаточно.

Уэзерби целыми часами распевал «Бостонского бродягу» или «Красивого юнгу», отчаянно фальшивя на каждой ноте, а Кёсферт чуть не плакал от бешенства и, наконец не вытерпев, бросался из хижины в лес. Но спасения не было. Мороз был такой, что долго выдержать не было возможности, и они снова оставались заперты в тесной хижине вместе с кроватями, печкой, столом и всем прочим – на пространстве десять на двенадцать ярдов. Самое присутствие каждого из них являлось уже личным оскорблением другому, и они проводили время в угрюмом молчании, которое день ото дня становилось продолжительнее и злее. Очень часто брошенный одним взгляд или презрительное поджимание губ выводили из себя другого, хотя они и старались совершенно не замечать друг друга во время этих периодов молчания. И величайшее изумление выросло понемногу в их душах: как это Господь Бог мог сотворить «такого»!

Работы не было, и досуг стал для них почти невыносим. А это, естественно, делало их еще более ленивыми. Они впали постепенно в своего рода физическую летаргию и не могли ее сбросить, так что малейшая обязательная работа возмущала их. Однажды утром, когда очередь готовить завтрак была за Уэзерби, он вылез из-под груды своих одеял и под храпение товарища зажег лампу и развел огонь. Вода в горшках замерзла, и умыться было нечем. Впрочем, это было ему безразлично. Пока вода оттаивала, он нарезал сало и принялся за ненавистное ему приготовление хлеба. Уже проснувшийся Кёсферт посматривал на него из-под опущенных век. Разумеется, произошла бурная сцена, во время которой оба наговорили друг другу достаточно «теплых» слов, и в конце концов было решено, что каждый сам будет готовить себе завтрак. Неделю спустя Кёсферт тоже забыл умыться, что не помешало ему съесть завтрак с обычным удовольствием. Уэзерби злорадно усмехнулся. После этого происшествия глупая привычка умываться по утрам окончательно исчезла из их обихода.

Когда запас сахара и всяческих вкусных вещей стал подходить к концу, они испугались, как бы не прозевать своей порции, и из опасения, чтобы другой не съел больше, каждый из них объедался. От такого соревнования в обжорстве страдали не только сласти, но и они сами. Неподвижная жизнь и отсутствие свежих овощей испортили им кровь – и через некоторое время у них на теле стали появляться отвратительные красные прыщи. Но они не обратили никакого внимания на это предостережение. Потом начали опухать мускулы и суставы, на теле выступили черные пятна, а рот, десны и губы покрылись точно слоем

густых сливок. Но общее несчастье их не сблизило, их взаимное отвращение росло по мере того, как болезнь развивалась.

Они совершенно перестали заботиться о своей внешности и сильно опустились. Хижина стала похожа на свинной хлев, кровати никогда не убирались, и подстилка из еловых веток никогда на них не менялась. Они очень жалели, что не могут целый день лежать под одеялами, потому что мороз был ужасающий и печка пожирала массу дров. Они обросли грязными волосами, а до их одежды не захотел бы дотронуться даже тряпичник. Но это их мало беспокоило. Они ведь были больны, и кроме того, никто не мог их видеть. А всякое движение причиняло им боль.

Ко всему этому прибавилась еще одна опасность – Северный Бред. Великий Холод и Великое Безмолвие породили его в декабрьскую тьму, когда солнце окончательно ушло за линию южного горизонта. Он проявился у каждого в соответствии с его характером. Уэзерби стал до крайности суеверным и против воли делал все возможное, чтобы воскресить в своей душе тени, уснувшие в соседних могилах. Это было увлекательное занятие, и мало-помалу они стали являться ему во сне, залезали к нему под одеяло и рассказывали о всех бедах и горестях, какие случились с ними при жизни. Он старался отодвинуться, чтобы избежать их холодного прикосновения; а когда они прижимались плотнее, чтобы отогреть об него свои замерзшие члены, и рассказывали ему на ухо все, что должно еще произойти, он кричал на всю хижину. Кёсферт ничего не понимал – они давно уже перестали разговаривать друг с другом – и, разбуженный этими криками, инстинктивно хватался за револьвер. Потом он, нервно передергиваясь, садился на постель, и так, не смыкая глаз, просиживал всю ночь с дулом, направленным в сторону товарища. Кёсферт решил, что тот сходит с ума, и стал опасаться за свою жизнь.

У него болезнь приняла менее острую форму. Незвестный человек, построивший бревно за бревном всю хижину, укрепил для чего-то на ее крыше флюгер. Кёсферт заметил, что флюгер этот всегда обращен к югу, и однажды, раздраженный его упорной пассивностью, повернул его на восток. Он ждал, не спуская с флюгера глаз. Но в воздухе не было ни малейшего движения, и флюгер остался на месте. Тогда Кёсферт повернул его к северу и дал себе клятву не трогать его до тех пор, пока ветер не повернет. Но воздух, оставаясь таким же – нездешне-спокойным, – пугал его, и часто среди ночи он вставал и бежал смотреть – не сдвинулся ли флюгер – совсем немножко; самое маленькое уклонение успокоило бы его. Но нет: флюгер оставался неподвижным,

неумолимым, как сама судьба. Воображение Кёсферта возбуждалось все больше и больше, и в конце концов эта мысль о флюгере стала для него навязчивой идеей. Иногда ему вдруг приходило в голову идти через лес, в том направлении, какое указывал флюгер, и тогда Бред окончательно завладевал его душой. Он жил теперь окруженный чем-то невидимым и непонятным, и тяжесть вечности, навалившаяся на него, казалось, готова была ежеминутно его раздавить. На Севере все оказывает такое сокрушающее действие – отсутствие жизни и движения, тьма, бесконечное, неестественное спокойствие всего окружающего, безмолвие, насыщенное призраками, и в нем – в этом безмолвии – каждое биение сердца кажется каким-то святотатством, торжественный лес, затаивший в себе что-то страшное, и, наконец, нечто невыразимое, чего нельзя определить словами.

Мир, который Кёсферт еще так недавно оставил, мир политических столкновений и грандиозных предприятий отошел куда-то совсем далеко. Изредка, правда, всплывали воспоминания – какие-то галереи и биржа, какая-то мешанина из вечерних туалетов и социальных обязанностей, приятных мужчин и очаровательных женщин, которых он знал раньше, – воспоминания такие туманные, словно все это ему было ведомо много столетий назад на какой-то другой планете. Здесь реальными были его призраки. Стоя перед флюгером, с глазами, устремленными в полярное небо, он не мог заставить себя поверить, что существует какой-то Юг, в это самое мгновение напоенный шумом, жизнью и деятельностью. Нет, такого Юга не было, не было вовсе и людей – живых, рожденных женщинами, не было и не могло быть, чтобы кто-то там женился и выходил замуж. Позади этой черной линии горизонта тянутся опять черные пустынные пространства, а позади них – опять такие же – пустые и черные. И не было и нет солнечных стран, отяжелевших от запаха цветов. Это все у него – былые детские представления о рае. Залитый солнцем Запад, залитый благоуханиями Восток, улыбающаяся Аркадия, блаженные райские острова, – «Ха-ха-ха!» Смех рассек пустоту и испугал его. Нет, солнца не было. Вселенная, вся вселенная – мертва, холодна и черна, и живет в ней только он один. Уэзерби? Но в такие минуты Уэзерби в счет не шел. Ведь это был, в конце концов, какой-то Калибан, чудовищное привидение, прикованное к нему, Кёсферту, с незапамятных времен в наказание за какое-нибудь забытое им преступление.

Кёсферт жил бок о бок со Смертью, окруженный мертвецами, обессиленный ощущением собственного ничтожества, раздавленный владычеством уснувших веков. Величие окружающего стирало его, уничтожало. Все вокруг было возведено в превосходную степень, за исключением его самого, – полное прекращение всякого движения, бесконечность покрытой снегом пустыни,

высота неба и глубина безмолвия. Хоть бы повернулся этот чертов флюгер! Ударил бы гром, загорелся бы лес, или небо свернулось бы словно свиток, или рухнула вселенная – что-нибудь, что-нибудь! Нет, ничего. Безмолвие обступило его, и Северный Бред положил свои ледяные пальцы на его сердце.

Однажды, как какой-нибудь Робинзон, он открыл на берегу реки следы, едва заметные черточки от лапок кролика на нежной верхней снеговой корочке. Это было целое откровение. На Севере, значит, была жизнь. Он захотел найти его, этого кролика, посмотреть на него, подышать на него. Он совсем забыл о своих распухших ногах, нырял в глубоком снегу и приходил в экстаз от своего открытия. Лес поглотил его, а кроткие полуденные сумерки быстро потухали, но он продолжал свои поиски, пока измученное тело не отказалось двигаться и он беспомощно не упал в снег. Он убедился, что следов не было, что это был один бред, – и рыдал, и проклинал свое безумие. Поздно ночью он дотащился до хижины на четвереньках, с отмороженными щеками и странно неподвижными ногами. Уэзерби неприязненно ворчал и не предложил ему своей помощи. Кёсферт колот иголкой пальцы ног и держал их перед печкой в надежде, что они отойдут. Через неделю у него открылась гангрена.

У клерка были свои заботы. В последнее время мертвецы все чаще и чаще выходили из своих могил и редко оставляли его одного, спал ли он или бодрствовал. Он всегда ждал их и всегда боялся, и не мог без дрожи проходить мимо двух могил. Однажды они пришли ночью, подняли его и погнали за дверь на работу. Он очнулся среди развороченных им камней в непередаваемом ужасе и дико бросился назад в хижину. Но, вероятно, он пролежал в снегу некоторое время, так как ноги и щеки оказались тоже отмороженными. Иногда настойчивое присутствие теней приводило его в бешенство, и он прыгал по хижине, рубил вокруг себя воздух топором и опрокидывал все на своем пути. Во время таких припадков Кёсферт завертывался в одеяла и, взведя курок револьвера, следил за сумасшедшим, готовый выстрелить, если бы тот подошел слишком близко. Но однажды, придя в себя после окончания припадков, клерк заметил направленное на него дуло. Это возбудило его подозрительность, и с этой минуты он начал также бояться за свою жизнь. Они стали внимательно следить друг за другом и со страхом оборачивались, когда кто-нибудь из них случайно проходил за спиной другого. Подозрительность перешла мало-помалу в манию преследования, которая не оставляла их даже во сне. Из-за обоюдного страха они оставляли лампу на всю ночь, и оба, ложась спать, проверяли, достаточно ли в ней жира. Малейшего движения одного было достаточно для того, чтобы другой вскочил, и долгими молчаливыми часами они следили друг за другом из-под своих одеял, держа пальцы на спуске револьверов.

Из-за Северного Бреда, нервного напряжения и прогрессирующей цинги они потеряли всякое человеческое подобие и походили теперь на загнанных, затравленных зверей. Отмороженные щеки и носы почернели. Отмороженные пальцы ног стали отваливаться по суставам – сначала отвалились первые, потом вторые. Каждое движение причиняло боль, но печка была ненасытна и требовала себе дань ценою пытки для несчастных изуродованных тел. Изю дня в день ей нужна была пища – в полном смысле слова, кровавая пища, – и они на коленях тащились в лес за дровами. Однажды, ползая в поисках сухого хвороста, они залезли с противоположных сторон в узкий проход под нависшими ветвями. И вдруг, совершенно неожиданно, две мертвые головы столкнулись.

Болезнь так изменила их, что узнать друг друга было невозможно. Они вскочили на ноги, крича от ужаса, и бросились бежать к дому на своих изувеченных культяпках. Столкнувшись у дверей хижины, они ныли и царапались, как звери, пока, наконец, не поняли своей ошибки.

Изредка у них бывали светлые промежутки, и в один из них они поделили поровну сахар – яблоко раздора. Каждый положил свой сахар в отдельный мешок и жадно прятал его в чулане: у каждого оставалось всего несколько чашек, и они совершенно перестали доверять друг другу. Но однажды Кёсферт ошибся. Еле двигаясь от боли, с трясущейся головой и полуслепыми глазами, он пополз в кладовую и совершенно нечаянно вытащил мешок Уэзерби вместо своего.

Это случилось в первых числах января. Солнце уже перешло через свое самое низкое стояние, и теперь в полдень на южной стороне неба показывались желтые полосы света. На другой день после своей ошибки Кёсферт чувствовал себя лучше – и душой, и телом. Когда подошел полдень и забрезжил свет, он выполз наружу, чтобы полюбоваться мимолетным сиянием, которое было для него обещанием солнца вернуться. Уэзерби тоже чувствовал себя немного лучше и уселся рядом с ним. Они прикорнули в снегу под неподвижным флюгером и ждали.

Вокруг них застыла мертвая тишина. В других странах, когда вся природа замирает, все же ждешь движения воздуха или какого-нибудь голоса, который вот-вот затянет прерванную песню. На Севере ждать нечего. Два человека жили здесь, как два привидения, среди заколдованной тишины. Они не могли бы вспомнить ни одного звука в прошлом и не ждали звуков от будущего. Эта

неземная тишина была извечна – спокойное безмолвие вечности.

Их глаза были обращены к северу. За их спинами где-то внизу, под высокими южными горами, незримо для них катилось солнце по какому-то чужому небосклону. Они могли только следить за медленно занимающейся, неясной зарей. Бледный дымно-красный свет все разгорался. Он становился ярче, переходя из красно-оранжевого в пурпурный и шафранно-желтый. Эти отблески на северной стороне неба были так ярки, что Кёсферт не сомневался: за ними – солнце. Чудо – солнце, встающее с севера! И внезапно все краски с картины были убраны. Небо обесцветилось. Они затаили дыхание. Что это? Мелкая изморозь внезапно загорелась в воздухе, а на снегу лежало тонкое очертание флюгера. Тень! Настоящая тень! Они вскочили и поспешно повернули головы по направлению к югу. Тоненький золотой ободок чуть виднелся из-за занесенных снегом плеч горного кряжа; он улыбнулся им на одно мгновение и сейчас же исчез.

Когда они посмотрели друг на друга, в глазах их стояли слезы. Ими овладела какая-то необычайная нежность, и их неудержимо потянуло друг к другу. Солнце вернулось. Солнце завтра будет с ними опять, будет и послезавтра, и дальше, дальше... И каждый раз оно будет оставаться все дольше, и потом придет время, когда оно совсем не уйдет с неба, ни днем, ни ночью – не зайдет за горизонт. И не будет ночи. Ледяные засовы зимы будут сломаны. И снова подует ветер, и ему будет отвечать лес. И земля будет купаться в блаженном сиянии, и жизнь вновь заиграет. Взявшись за руки, они уйдут от этого ужасного бреда и снова вернуться на Юг. Они оглянулись друг на друга, и их руки встретились – эти жалкие, изъеденные руки, опухшие и скрюченные в рукавицах.

Но обещанию солнца не удалось сбыться. Север – всегда Север, и странные силы правят здесь душой человека. И никогда не поймут их люди, не бывавшие в этой далекой стране.

Час спустя Кёсферт положил в печь кусок хлеба и стал обдумывать, что смогут сделать хирурги с его ногами, когда он вернется домой. Теперь «дом» не казался ему уже таким далеким. Уэзерби рылся в кладовке. Внезапно он разразился страшными ругательствами, которые потом странно оборвались. Тот – «другой» – украл у него сахар? И все-таки неизвестно, как бы повернулось еще все дело, если бы оба умерших не вылезли из-под камней и не стали лить ему в голову свои раскаленные слова. Потом они совсем спокойненько вывели его из

кладовки, которую он даже забыл запереть. Это потому, что время пришло. Это потому, что сейчас должно было произойти то самое, о чем они всегда рассказывали ему по ночам. Они повели его, не торопясь – так, совсем спокойненько, – к куче дров, и там они дали ему в руки топор. Потом они помогли ему отпереть дверь хижины и даже сами закрыли ее за ним – он ясно слышал, как она скрипнула и как щеколда шумно упала на свое место. И он знал, что они стоят за дверью и ждут, чтобы он сделал свое дело.

– Картер! Что вы, Картер!

Перси Кёсферт испугался, взглянув на лицо клерка, и поспешно загородился столом.

Картер Уэзерби приближался. Не торопясь, без возбуждения. И в лице его не было ни злобы, ни жалости, а скорее какое-то терпеливое послушание – тупой взгляд человека, который все равно должен что-то сделать и вот делает, – методически, не спеша.

– В чем дело, я вас спрашиваю?

Клерк двинулся назад, отрезая ему отступление к двери, но не произнес ни слова.

– В чем дело, Картер, в чем дело? Давайте обсудим...

Кёсферт быстро обдумал положение: улучив минуту, он ловким боковым движением очутился на постели, где лежал его «Смит-Вессон». Прислонившись спиной к стене и не спуская глаз с сумасшедшего, он взвел курок.

– Картер!

Порох вспыхнул прямо в лицо Уэзерби, но он все же кинулся вперед, взмахнув топором. Топор врезался в позвоночник, и Перси Кёсферт сразу перестал ощущать свои нижние конечности. Тогда клерк навалился на него, хватая его за горло своими слабыми пальцами. Удар топора заставил Кёсферта выронить револьвер, и теперь, задыхаясь под тяжестью противника, он беспомощно шарил рукой по одеялу. Тут он вспомнил. Он просунул руку за пояс клерка и

вытащил его охотничий нож. И они очень-очень крепко прижались друг к другу в этом последнем объятии.

Перси Кёсферт чувствовал, что силы оставляют его. Нижняя часть его тела уже отмерла. Мертвая тяжесть Уэзерби расплющивала его и держала неподвижным, словно капкан медведя. Хижина наполнилась знакомым запахом, и он сообразил, что это горит его хлеб. Но разве не все равно? Он ведь не понадобится ему. А в кладовке осталось еще полных шесть кружек сахара! Если бы он мог предвидеть все, что случится, он не сэкономил бы так последние дни. А флюгер, сдвинется он когда-нибудь или нет? Может быть, вот сейчас он понемножку двигается? Почему бы и нет? Разве он не видел сегодня солнца? Вот он пойдет сейчас и посмотрит. Нет, сдвинуться невозможно. Никогда он не думал, что клерк такой тяжелый.

Как скоро остывает хижина! Вероятно, потух огонь. Холод наступает. Наверное, теперь ниже нуля, и дверь начинает промерзать изнутри. Он не может этого видеть, но отлично все знает по температуре воздуха – у него достаточно опыта. Вот теперь побелела нижняя петля двери. Узнают ли когда-нибудь люди, что случилось с ним? Как отнесутся к этому его друзья? Скорее всего они прочтут об этом в газете за кофе и будут потом обсуждать происшествие в клубе. Он видит их очень ясно. «Бедный Кёсферт, – шепчут они, – и совсем не плохой малый был в конце концов». Он улыбнулся похвале и пошел дальше, разыскивая турецкие бани. На улицах была знакомая толкотня. Смешно, что никто не обращает внимания на его мокасины из оленьей шкуры и дырявые немецкие носки. Лучше взять извозчика. А после ванны не худо бы зайти побриться. Нет, сначала он закусит. Бифштекс, картофель и зелень, – какое все свежее! А это что там такое? Сотовый мед – течет, как золотистая смола. Только зачем они принесли столько? Ха-ха, да ему же никогда не съесть этого! Чистильщик сапог? Ну да, конечно. Он ставит ногу на ящик. Чистильщик смотрит на него с любопытством, и Кёсферт, вспомнив о мокалинах, поспешно уходит.

Трр!.. Это, наверное, флюгер. Нет, просто в ушах шумит. Да, ничего больше – просто в ушах шумит. Иней покрыл теперь уже щеколду. Пожалуй, и верхнюю петлю. Между проконопаченными балками в потолке появляются маленькие белые точки. Как медленно они нарастают. Нет, не так уж медленно. Вот эта – совсем новая. Теперь их уже так много, что не стоит считать. Вон там две срослись вместе. А вот к ним присоединяется третья. Только теперь это уже не точки и не пятнышки. Они сливаются вместе – и похожи на простыню или на саван.

Ну, что же, – он не один. Если когда-нибудь архангел Гавриил разбудит своей трубой молчание Севера, они встанут вместе, держась за руки, и вместе подойдут к великому белому трону. И Бог будет их судить, – да, сам Бог их будет судить!

И Перси Кёсферт закрыл глаза и погрузился в сон.

За здоровье того, кто в пути

– Наливай.

– погоди, Кид, не будет ли уж слишком? Виски и спирт – и так уж здорово. А если еще бренди и перцовку, и...

– Говорят тебе, наливай. Кто приготавливает пунш, в конце концов, я или ты? – И Мельмут Кид блаженно улыбался сквозь клубы пара. – Если бы ты прожил здесь столько, сколько я, сын мой, и питался бы все время потрохами лососины и воспоминаниями о кроликах, ты бы знал, конечно, что Рождество бывает только раз в году. А Рождество без пунша – это все равно, что заявка без золота.

– Что правда, то правда, – согласился Джим Белден Большой, приехавший со своей заявки в Мэзи-Мэй, чтобы провести Рождество с товарищами, и питавшийся последние два месяца, как всем было известно, одной олениной. – А ты не забыл, какой «хуч» ты приготовил нам на Танане?

– А... знаю, о чем ты... Ну, ребята, и посмеялись бы вы, если бы видели, как перепилось все племя! А и было-то всего-навсего только здорово перебродившее пойло из сахара да кислой закваски немного. Это было еще до тебя, – сказал Мельмут Кид, обращаясь к Стэнли Принсу, молодому технику, знатоку рудничного дела, приехавшему сюда года два назад. – Ни одной белой женщины не было тогда здесь, а Мэсон задумал жениться. Отец Руфи был вождем одного из племен на Танане и, конечно, упирался, как и все племя. Безвыходно, понимаете? Ну, что тут будешь делать – я пожертвовал последним фунтом сахара. Тонкая была работа, пожалуй, и за всю жизнь такой не запомню. Посмотрели бы вы только, как они гнались потом за нами вниз по реке!

– А женщина? – спросил француз-канадец Луи Савуа, начиная интересоваться рассказом; он уже слышал кое-что об этом разбойничьем деле прошлой зимой на Сороковой Миле.

Тогда Мельмут Кид – прирожденный рассказчик – передал без всяких прикрас историю северного Локинвара. Не у одного из этих закаленных искателей приключений сердце забилось сильнее и знакомая неясная тоска потянула на солнечные пастбища Юга, где от жизни можно было взять что-то еще, кроме бессмысленной борьбы с холодом и смертью.

– Мы переправились через Юкон как раз после первого ледохода, – закончил Мельмут Кид, – а погоня была на берегу ровно через четверть часа. Но это как раз нас спасло: начался второй ледоход, и они были от нас отрезаны. Когда, наконец, им удалось добраться до Нуклукието, весь Пост уже приготовился встретить их. А что касается брачной церемонии, это уж вы спросите отца Рубо.

Иезуит вынул трубку изо рта, но не мог ничего сказать, выражая свое настроение только многозначительными улыбками, которым дружно аплодировали и католики, и протестанты.

– Черт возьми! – восклицал Луи Савуа, путаясь в словах: его, очевидно, захватила романтичность приключения. – О, та petite индианка, мой Мэсон храбрый. Черт возьми!

Когда жестяные кружки с пуншем первый раз обошли вокруг стола, Бэттлс Неумолкающий вскочил на ноги и затянул любимую пьяную песню:

Учитель и Ворд-Бичер —

У них такой обычай —

Ругают корень сассафраса:

– Его мы запрещаем!

Но мы-то, мы-то знаем,

Не проведет сюртук и ряса!..

Рев пьяного хора подхватил:

– Его мы запрещаем!

Но мы-то, мы-то знаем,

Не проведет сюртук и ряса!

Не проведет сюртук и ряса!..

Рискованная смесь Мельмут Кида оказывала свое действие. Все лишения и ужасы северной жизни не задавили в них горячей радости жизни – и шутки, песни, и рассказы о всевозможных приключениях перекидывались с одного конца стола на другой. Они собрались сюда из дюжины различных стран и пили за все подряд. Англичанин Принс предложил тост за «дядю Сэма», скороспелого младенца Нового Света. Янки Бэттлс пил за королеву, «да благословит ее Господь», а Савуа и Мейерс – немецкий коммерсант – чокнулись за Эльзас-Лотарингию.

Тогда поднялся Мельмут Кид с кружкой пунша в руке и поглядел в замерзшее окно, на котором было по крайней мере три дюйма льда.

– За здоровье того, кто застигнут в пути сегодняшней ночью; да хватит ему провианта; да будут целы ноги у его собак; да не отсыреют его спички!

Крак! Крак! – послышалась вдруг хорошо знакомая всем музыка собачьей плетки, потом визг мельмутовских собак и скрип полозьев около самой хижины. Разговоры замерли – все ждали, что будет.

– Опытный ездок: сначала о собаках, а уж потом о себе, – шепнул Мельмут Кид Принсу, когда послышалось щелканье зубов, волчье рычание и визг собак: их привычному слуху было ясно, что незнакомец кормит своих собак и отгоняет чужих.

Затем раздался ожидаемый стук в дверь, резкий и уверенный, – и незнакомец вошел в комнату. Ослепленный светом, он остановился на мгновение у двери, давая всем возможность разглядеть себя. Это была интересная фигура и весьма живописная в своем полярном меховом одеянии. Он был дюйма на два или на три выше шести футов, с хорошо развитой грудью и плечами; его гладко

выбритое лицо стало ярко-алым от мороза; длинные ресницы и брови побелели от снега, и когда он снял свою шапку из волчьего меха, он, право, походил на сказочного царя-мороза, рожденного только сейчас волшебством ночи. Вышитый пояс с двумя крупными револьверами и охотничьим ножом стягивал его кожаную куртку, а в руках он держал, кроме неизбежной собачьей плетки, прекрасное бездымное ружье самой новейшей конструкции. Когда он вошел, по его походке, вообще говоря, твердой и эластичной, можно было заметить, что он сильно устал.

Наступило неловкое молчание, но сердечный привет вошедшего: «здорово, ребята!» сейчас же привел всех в себя, и в следующее мгновение Мельмут Кид уже пожимал его руку. Хотя они никогда не встречались, оба достаточно слышали друг о друге и были рады познакомиться, и прежде чем приездий успел произнести хотя бы одно слово в объяснение своего появления, он был уже представлен всем присутствующим, и в руке у него очутилась большая кружка пунша.

– Как давно проехали здесь крытые сани с тремя мужчинами и восемью собаками? – спросил он.

– Дня два тому назад. Вы за ними?

– Да, моя запряжка. Увели из-под самого носа, негодяи. Я, значит, выиграл уже два дня. Захватчу на следующем перегоне.

– Думаете, они пожалеют порох? – спросил Белден, чтобы поддержать разговор. Мельмут Кид занялся приготовлением кофе и старательно нарезал сало и оленьё мясо.

Незнакомец многозначительно погладил свои револьверы.

– Давно из Даусона?

– Выехал в двенадцать.

– Вчера в полночь?

– Сегодня.

Шепот изумления пробежал вокруг. И было от чего: теперь была полночь; значит – семьдесят пять верст трудного речного пути в течение двенадцати часов!

Разговор вскоре стал общим: вспоминали различные случаи из давнишних путешествий. Пока молодой незнакомец ел, Мельмут Кид внимательно изучал его лицо и очень скоро пришел к заключению, что это красивое, честное и открытое лицо ему, Киду, нравится. Оно было еще совсем молодое, хотя и тронутое уже резцом борьбы и тяжелого труда. Его голубые глаза, искрящиеся, когда он говорил, и мягкие, когда молчал, вероятно, делались стальными в минуты столкновений. Широкие скулы и квадратный подбородок свидетельствовали об упорстве и непреклонной воле. Но, несмотря на все эти черты могучей львиной природы, в нем была какая-то мягкость, почти женственность, которая говорила о его большой впечатлительности.

– Вот таким образом мы и сошлись со старухой, – говорил Белден, заканчивая очень пикантное повествование о своей женитьбе. – «Вот и мы, отец», сказала она. «Ну и черт с вами», ответил он ей. А потом мне: «Джим, ну, – ну, сделай что-нибудь толковое; вот мне надо вспахать сорок акров до обеда». А потом повернулся к ней и говорит: «А ты, Сали, ты иди, мой посуду». Я уж было обрадовался, но он вдруг посмотрел на меня, да как зарычит: «Иди сюда». Я так и пошел к нему, весь в муке!

– А дети у вас есть в Штатах? – спросил незнакомец.

– Нет. Сали рано умерла. Вот почему я здесь. – Белден стал задумчиво разжигать свою трубку, которая было погасла, и когда она задымилась, спросил: – А вы женаты?

Вместо ответа незнакомец открыл часы, снял их с ремня, заменявшего цепочку, и передал Белдену. Тот поправил лампу, внимательно осмотрел внутреннюю сторону крышки и с невольным восторженным восклицанием передал часы Луи Савуа. Этот несколько раз подряд воскликнул «черт возьми» и в свою очередь передал их Принсу, у которого, как все заметили, дрогнули руки, а глаза стали необычайно нежными. Таким образом, часы переходили из одних корявых рук в другие, а на внутренней стороне их крышки была приклеена фотография женщины: одной из тех нежных, привязчивых женщин, о которых мечтают

многие мужчины; у ее груди был ребенок. Те, кто еще не видел этого чуда, сгорали от любопытства; а те, кто видел, замолкали и становились задумчивыми. Все они умели смотреть в лицо голоду, болезни и внезапной смерти где-нибудь в пути, но изображение неизвестной женщины с ребенком на руках превращало их самих в женщин и детей.

– Я еще не видел малыша – мальчик, она пишет. Теперь ему уже два года, – сказал незнакомец, когда его сокровище вернулось к нему. Он пристально посмотрел на фотографию, потом захлопнул часы и отвернулся, но все успели заметить еле сдерживаемые слезы на его глазах.

Мельмут Кид предложил ему лечь на скамейку и отдохнуть.

– Разбудите меня в четыре, ровно в четыре. Только не позже. – С этими словами он лег и через минуту уже спал тяжелым сном уставшего человека.

– Ей-богу, молодец! – решил Принс. – Три часа сна после семидесяти пяти миль на собаках, а затем опять в дорогу. Кто он такой, Кид?

– Это Джэк Уэстондель. Он приехал года три назад; работает как лошадь, но ему положительно не везет. Я никогда не встречался с ним, но Митка Чарлей много рассказывал мне о нем.

– Скверно, когда судьба забрасывает человека, у которого такая милая жена, да еще в такие молодые годы, в эту Богом забытую дыру, где каждый год стоит двух, проведенных где-нибудь в другом месте.

– Беда в том, что у него заявка скверная, а он упрям. Два раза промыл – и ничего.

Здесь разговор был прерван восклицанием Бэттлса, что инцидент исчерпан. И скоро опять грубое веселье заставило их забыть черные, долгие годы однообразной пищи и мертвящего труда.

Один Мельмут Кид как-то не мог уже больше отдалиться веселью и все время тревожно поглядывал на часы. Потом он вдруг надел рукавицы и бобровую шапку и пошел рыться в кладовой.

Он не мог дожидаться назначенного часа и разбудил гостя на четверть часа раньше. Молодой великан насилу поднялся, и ему пришлось растирать все тело, чтобы держаться на ногах. Он вышел из хижины шатаясь, но собаки были уже запряжены и все готово к отъезду. Вся компания пожелала ему счастливого пути и удачной охоты, а отец Рубо, наскоро благословив его, увел всех в хижину; и не мудрено – не очень-то приятно стоять на семидесятиградусном морозе с открытыми ушами и голыми руками.

Мельмут Кид помог ему выбраться на дорогу и, горячо пожимая на прощание руку, сказал:

– Там, в санях, вы найдете сто фунтов лососиной икры. Это хватит собакам на столько же времени, на сколько хватало бы сто пятьдесят фунтов рыбы, а вы не найдете корма для собак в Пелли, как, возможно, рассчитывали. – Незнакомец посмотрел на него с удивлением, и глаза его вспыхнули. Но он не перебивал.

– Вы не достанете ни одного золотника ни для себя, ни для собак раньше, чем доедете до Файф-Фингерс, а это верных две тысячи миль. Постарайтесь потом добраться до открытой воды на Тридцатой Миле и тогда захватите большой пароход на Ле-Бардж.

– Почему вы так говорите? Разве слухи обо мне могли перегнать меня?

– Я ровно ничего не знаю. И больше – не хочу ничего знать. Знаю только, что запряжка, за которой вы гонитесь, никогда не была вашей: Ситка Чарлей продал ее этим людям прошлой весной. Но он говорил мне о вас как о честном человеке – и я верю ему. Теперь я увидел ваше лицо, и оно мне понравилось. И я видел – черт возьми, удержите же вашу соленую воду в глазах, – ну, видел вашу жену и, ну... – Кид снял рукавицу и вытащил кошелек.

– Нет, этого мне не надо, – и он судорожно сжал руку Мельмута Кида со слезами, замерзшими на щеках.

– Если так, то советую вам – не жалейте собак; лишь только какая упадет, обрежьте постромки и покупайте новую. И не скупитесь – хоть по десять долларов с фунта. Вы достанете их и в Файф-Фингерс, и в Литл-Салмон, и в Хутадинква. И еще следите за тем, чтобы ноги не были мокрые. Старайтесь, чтобы чулок хватало на перегон. А если нет – разводите огонь и меняйте в

дороге.

Не прошло и четверти часа, как звон колокольчиков возвестил о прибытии новых посетителей. Дверь отворилась, и конный полисмен Северо-Западной Территории вошел в комнату в сопровождении двух погонщиков-метисов. Все они, – так же, как и Уэстондель, – были хорошо вооружены и выглядели очень усталыми. Метисы как местные уроженцы переносили путь сравнительно легко, но молодой полисмен совершенно изнемогал. Однако бульдожье упрямство его расы держало его на ногах и должно было держать до тех пор, пока он не свалится.

– Когда уехал Уэстондель? – спросил он. – Он ведь здесь останавливался, не правда ли?

Вопрос, собственно, был излишним, так как следы повествовали весьма обстоятельно. Мельмут Кид быстро взглянул на Белдена, и тот, сообразив, откуда дует ветер, отвечал неопределенно: – Да порядочно.

– Полно, дружище, говори прямо, – убеждал его полисмен.

– Вы, что же, сцапать его собираетесь, а? Он дел там наделал в Даусоне?

– Он нагрел Гарри Мак-Фарлэнда на сорок тысяч долларов; обменял их в конторе Компании на чек в Ситль, и если мы не догоним его, он, разумеется, получит по чеку. Когда он уехал?

По одному повелительному взгляду Мельмут Кида возбуждение погасло во всех глазах, и полисмен увидел вокруг себя неподвижные деревянные физиономии.

Он надел с расспросами на Принса, и хотя этому было ужасно трудно смотреть в честные, строгие глаза земляка, он все же понес что-то несуразное по поводу трудной дороги.

Тогда полисмен обратился к отцу Рубо, который, безусловно, не мог солгать.

– Четверть часа тому назад, – ответил священник. – Но он отдыхал здесь четыре часа, и собаки тоже.

– Едет уже пятнадцать минут и отдохнул, о Боже! – бедный малый отшатнулся назад, чуть не падая от усталости и отчаяния. Он бормотал что-то о десятичасовом перегоне из Даусона и о том, что собаки загнаны.

Мельмут Кид протянул ему большую кружку с пуншем. Выпив ее, полисмен направился к двери, приказав погонщикам следовать за собой. Но теплая комната и перспектива отдыха были слишком соблазнительны, и они уперлись. Кид понимал немного их полуфранцузский жаргон и прислушивался с тревогой.

Они божились, что собаки загнаны окончательно, что Сиваша и Бабет придется застрелить на первой миле, что остальные тоже не лучше и что во всех отношениях правильнее будет передохнуть.

– Одолжите мне пять собак, – сказал полисмен, поворачиваясь к Мельмут Киду.

Тот отрицательно покачал головой.

– Я дам вам чек в пять тысяч на капитана Константэйна. Вот мои бумаги, я уполномочен поступать по своему усмотрению.

Последовал тот же молчаливый отказ.

– Тогда я реквизирую их именем королевы!

Вопросительно улыбаясь, Кид взглянул на свой великолепный арсенал, и англичанин, почувствовав свое бессилие, повернулся к двери. Погонщики опять запротестовали, но он накинулся на них с яростью, называя бабами и собаками. Темное лицо старшего метиса вспыхнуло от гнева. Он встал и в хорошеньких выражениях пообещал полисмену путешествие на своих двоих, прибавив, что будет в восторге, когда тот свалится и останется один в снегу.

Молодой офицер собрал всю силу воли и быстро направился к двери, стараясь показать, что он уже отдохнул. Все видели, что это неправда, и оценили его гордые усилия. Ему не удалось скрыть болезненной судороги, перекосившей

лицо. Обледеневшие собаки прикорнули в снегу, и было почти невозможно поднять их на ноги. Погонщики были обозлены, а потому били их жестоко, но несчастные звери только визжали и выли под ударами. Только когда отрезали Бабет – передовую собаку, сани сдвинулись наконец с места.

– Грязное животное! Лгун! Черт возьми, вот негодяй оказался! Вор! Да хуже всякого индейца! – Было ясно, что вся компания возмущена до крайности. Прежде всего за то, что их так провели, а потом за поруганную этику Севера, где честность считается первым украшением настоящего мужчины.

– А мы еще помогали мерзавцу, когда все уже было известно! – Все глаза с упреком обернулись на Мельмут Кида, который поднялся из угла, где устраивал Бабет, и молча принялся разливать по кружкам остатки пунша.

– Холодная сегодня ночь, ребята, – очень холодная ночь сегодня, – начал он издали свою защитительную речь. – Все вы бывали в пути, и все вы знаете, что это значит. Нельзя бить собаку, когда она упала. И потом, вы слышали только одну сторону. И я вам скажу еще, что ни вам, ни мне не приходилось ни разу есть из одного горшка или спать на одной постели с таким хорошим человеком, как Джэк Уэстондель. Прошлой осенью он отдал всю свою промывку – сорок тысяч – Джо Кастрелю, чтобы купить ему пай в Доминионе. Теперь он был бы уже миллионером. А что сделал Кастрель, вы знаете? Уэстондель задержался в Сёркл-Сити, ухаживая за товарищем, который заболел цингой, а Кастрель в это время пьянствовал у того же Мак-Фарлэнда, пока не спустил все до последней крупинки. Его нашли потом мертвым в снегу. А несчастный Джэк лишился возможности ехать нынешней зимой к жене и ребенку, которого он еще не видел. Вы обратили внимание – он взял ровно столько, сколько прокутил его товарищ, – сорок тысяч. Ну и взял, и уехал. Что вы на это скажете?

Кид обвел глазами своих слушателей и, заметив, что выражение их лиц стало мягче, высоко поднял свою кружку.

– За здоровье того, кто в пути! Да хватит ему провизии! Да будут целы ноги его собак! Да не отсыреют его спички! И поможет ему Бог... Счастливый ему путь и...

– К черту конную полицию! – кричал Бэттлс под звон опустевших кружек.

Право священнослужителя

Это будет рассказ о человеке, не сумевшем оценить свою жену, а также о женщине, оказавшей ему слишком большую честь тем, что вышла за него замуж. Случайно в эту историю окажется впутанным один иезуитский священник, о котором говорили, что он никогда не лжет.

Священник этот был неотъемлемой собственностью страны Юкона – весьма полезной собственностью, но те двое попали сюда случайно. Они были одной из пород золотоискателей. В общем, существует два типа золотоискателей: одни несутся в центре золотого потока, другие плетутся в хвосте.

Эдвин Бентам и Грэйс Бентам были золотоискателями и, несомненно, плелись в хвосте, ибо, когда они приехали, Клондайкский 97-го года уже давно спустился вниз по реке и осел в голодном городе Даусоне. Когда Юкон закрыл свою лавочку и заснул под слоем снега в три фута, странствующая парочка оказалась у порога Файф-Фингерс, все еще на расстоянии многих дней пути от Золотого Города.

Осенью здесь было убито большое количество скота, и отбросы лежали целыми кучами. Три «вояжера», сопровождавшие Эдвина Бентама и его жену, осмотрели эти запасы, сделали в уме маленькую арифметическую выкладку и, заметив поблескивание верного барыша, решили здесь остаться. Всю зиму они продавали кости и замерзшие кожи проголодавшимся запряжкам – и совсем дешево продавали, по доллару за фунт, почти по своей цене. Через шесть месяцев, когда солнце вернулось и Юкон ожил вновь, они надели тяжелые пояса с зашитыми в них деньгами и отправились обратно на Юг, где живут и до сих пор, рассказывая небылицы о Клондайке, которого никогда не видели.

Эдвин Бентам был от природы ленивым малым, и, если бы не жена, он, вероятно, с удовольствием присоединился бы к спекуляции мясом. Но жена, играя на его тщеславии, убедила его в том, что он сильный и вообще выдающийся человек и что такой, как он, конечно, легко преодолеет все трудности и, разумеется, добудет Золотое Руно. Ему ничего не оставалось, как стиснуть зубы, продать свою долю костей, купить сани и одну собаку и направить лыжи к Северу. Незачем упоминать, что лыжи Грэйс Бентам не отставали от него. И даже больше: проковыляв спереди три дня, муж очутился сзади – и путь прокладывала уже жена. Впрочем, при каждой встрече позиции менялись. Таким

образом, его мужское достоинство не могло быть поддано сомнению встречными, которые, как привидения, проскальзывали иногда мимо. Попадают же и такие мужчины на свете.

Каким образом могло случиться, что такой мужчина и такая женщина соединились на всю жизнь, чтобы делить и горе и радость, – это к делу не относится. Об этом мы все и так знаем, а те, кто в это вмешиваются или хотя бы слишком близко подходят к таким вопросам, рискуют потерять один из лучших идеалов человечества, известный под названием нравственного миропорядка.

Эдвин Бентам был, собственно, мальчишкой, втиснутым по ошибке в тело взрослого человека, – мальчишкой, который с милой улыбкой мог обрывать крылья у бабочки, одно за другим, и в то же время постыдно отступать в ужасе перед каким-нибудь слабосильным парнем, раза в два меньше его ростом. Это был избалованный плакса под маской мужчины, с мужскими усами и с мужской фигурой, пролакированный самым незначительным слоем культурности и общепринятых условностей. Вот именно: это был клубмен, пустой светский болтун; человек, который обращает социальные обязанности в грациозную забаву и несет всякий общепринятый вздор с неопишуемой слащавой очаровательностью; человек, который много говорит – и плачет от зубной боли; человек, который, женившись на женщине, превращает ее жизнь в такой ад, какой не сумел бы ей уготовить и последний негодяй. Мы встречаем таких людей на каждом шагу, но редко представляем себе отчетливо, что это такое. Лучший способ узнать их до конца (кроме способа выйти за них замуж) – есть с ними из одного горшка и спать на одной постели в продолжение – ну, скажем, недели, – срока вполне достаточного.

Увидеть Грэйс Бентам – значило увидеть стройное существо, полурбенка. Узнать ее – значило узнать душу, которая раздавила сама себя и все же сохранила все очарование вечной женственности. Эта женщина поддерживала и ободряла своего мужа в его северных изысканиях, прокладывала для него дорогу в снегу, когда никто не мог этого видеть, и потом потихоньку плакала, считая себя недостаточно выносливой.

Таким образом, путешествовала эта странная парочка вниз по реке до Форта Селькирк, а затем сто миль мрачной пустыней по реке Стюарт. А когда последние короткие дни кончились, мужчина лежал в снегу и всхлипывал, а женщина, кусая губы от невыносимой боли в ногах, уложила его в сани и помогла собаке дотащить его до хижины Мельмут Кида. Мельмут Кида не было

дома, но Мейерс, немецкий коммерсант, поджарил хороший бифштекс из оленины и приготовил постель из свежих еловых веток.

Лэк, Лангэм и Паркер были крайне взволнованы, и не напрасно, если посмотреть на дело основательно.

– О Сэнди, скажи, пожалуйста, ты сумеешь отличить ссек от вырезки? Пойди к нам, посмотри, пожалуйста. – Это воззвание исходило из кладовки, где Лангэм безрезультатно сражался с непонятными для него кусками мороженой оленины.

– Поворачивайтесь же скорее с вашей стряпней! – командовал Паркер.

– Знаешь, Сэнди, будь другом, сбегай в Миссури Кэмп и займи у кого-нибудь немного корицы, – просил Лэк.

– Ну, ну, пошевеливайтесь! Почему ты... – но грохот упавших в кладовой консервов и мяса пресек строгий выговор.

– Ну, ступай теперь, Сэнди; опустишься до Миссури за минуту.

– Оставь его в покое, – перебил Паркер. – Как я буду месить тесто для бисквитов, когда стол грязный?

Сэнди остановился в нерешительности, но факт, что ведь он – «человек» Лангэма, оказался решающим. Он гордо отшвырнул в сторону кухонное полотенце и пошел помогать хозяину.

Эти многообещающие отпрыски богатых семейств явились на Север ради развлечения, с целой кучей денег, которые и прожигали, не стесняясь, и вдобавок еще с «человеком». Хорошо, впрочем, что двое из их компании отправились вверх по Белой Реке в поисках мифических залежей кварца, так что Сэнди приходилось разрываться только между тремя хозяевами, у каждого из которых были свои кулинарные пристрастия. Два раза за утро окончательный распад лагеря казался совершенно неизбежным и предотвращался только благодаря безмерной снисходительности того или другого из рыцарей круглой сковороды. В конце концов, их совместное творение – настоящий изысканный

обед – было закончено. После этого они сели за игру в «разбойники», которая должна была решить, на кого будет возложена одна очень важная миссия, и таким образом предотвратить все возможные пререкания по этому поводу.

Это счастье выпало на долю Паркера. Он причесался с пробором, надел рукавицы и медвежью шапку и направил свои стопы в хижину Мельмут Кида. Возвратился он в сопровождении Грэйс Бентам и Мельмут Кида, причем первая была очень огорчена, что ее муж не мог воспользоваться любезным приглашением, так как поехал осмотреть рудники у Гендерсон-Крика, а Кид чувствовал себя усталым после поездки вниз по реке Стюарт. Мейерс был тоже приглашен, но отказался, так как был весь поглощен интересным опытом квашения теста с помощью хмеля.

Ладно, без мужа, конечно, можно было обойтись, зато женщина – о, они не видели ни одной женщины за всю зиму, и пребывание ее здесь, одной ее, обещало новую эру в их жизни. Эти три молодые человека были людьми со средним образованием и джентльменами, но теперь они положительно дрожали над своим мясным супом, которого так долго были лишены. Возможно, что и Грэйс Бентам страдала от такого же голода; во всяком случае, этот первый веселый час после многих недель тьмы и холода значил для нее очень много.

Но едва это удивительное первое блюдо, способ приготовления коего искусный Лэк заимствовал у своих родителей, было подано на стол, как послышался громкий стук в дверь.

– О, почему вы не входите, мистер Бентам? – спросил Паркер, вставший посмотреть, кто стучит.

– Моя жена здесь? – грубо спросил этот достойный человек.

– Здесь, конечно. Мы же вам оставили записку у Мейерса.

Паркер старался пустить в ход самые нежные ноты, внутренне изумляясь, что все это значит.

– Почему вы не входите? Мы ждали вас с минуты на минуту и вот оставили вам место. И главное, как раз вовремя: только что подали первое блюдо!

– Войди же, Эдвин, милый, – пролепетала Грэйс Бентам из-за стола.

Паркер, естественно, отодвинулся.

– Я пришел за женой, – грубо произнес Бентам, и в его интонации был неприятный привкус собственника.

Паркер задыхался. Он был на волоске от того, чтобы обрушить свой кулак в лицо противного посетителя, но сдержался и отошел. Все встали. Лэк опустил голову и чуть не сказал:

– Неужели вы уйдете?

Затем началась обычная кутерьма прощания: – Так мило с вашей стороны... Ужасно жаль... Честное слово, бывает же так!.. Да неужели, в самом деле?.. Еще раз благодарю вас... Счастливо добраться до Даусона... – И так далее.

Ягненку помогли надеть куртку и вручили его затем хозяину-мяснику. После этого дверь захлопнулась, и они в отчаянии стояли вокруг опустевшего стола.

– Черт! – Лангэм не получил с детства достаточного образования по этой части, а потому его ругательства были слабы и однообразны. – Черт! – повторил он, смутно сознавая недостаточность этого словечка и напрасно стараясь подыскать более выразительное.

Можно смело назвать талантливой женщиной ту, которая умеет затушевывать слабые места ничтожного мужа, укреплять его неустойчивую душу своей непобедимой волей, вливать в него свою честолюбивую предприимчивость и побуждать к великим свершениям. Но еще более таланта и тактичности требуется для того, чтобы сделать это все так тонко, что вся честь останется за мужем, а он сам искренне будет верить, что все это сделал он и только он.

Все это умела делать Грэйс Бентам. Приехав в Даусон с несколькими фунтами муки и многими рекомендательными письмами, она сделала все возможное, чтобы выпихнуть вперед своего большого младенца. Это она смягчила каменное сердце грубого варвара, который был председателем Компании, и завоевала его доверие. Но переговоры велись Эдвином Бентамом, и заявка была обещана ему.

Это она таскала своего младенца вверх и вниз по ручьям и речкам, через мели и водоразделы, по самым диким заявкам. И все говорили в один голос: «Что за энергичный парень этот Бентам». Это она изучала карты и выспрашивала рудокопов, и вколачивала географические данные и всякие названия в пустую голову мужа, а все изумлялись, как он успел так хорошо узнать страну и все местные условия. В конце концов, все решили, что жена для него – обуза, и только немногие, более умные, ценили ее и жалели.

Она работала – он получал похвалы и вознаграждение. На Северо-Западной Территории замужняя женщина не может сама промывать золото либо получить заявку на берегу реки и на кварцевые залежи. Поэтому Эдвину Бентаму пришлось пойти к комиссару золотых приисков и записать на себя заявку № 23, третья линия по Френч-Хиллю. А когда пришел апрель, они намывали по тысяче долларов в день, и впереди было еще много-много таких дней.

У подножия Френч-Хилля протекала речка Эльдорадо, и на речной заявке стояла хижина Клайда Уартона. В то время он не намывал ежедневно по тысяче долларов, но кучи нарытого песка все росли и росли, и приближалось время, когда они должны были пройти через промывные ящики и оставить на дне их в течение нескольких дней много сотен тысяч долларов. Он часто сидел в своей хижине, курил трубку и мечтал об удивительных вещах, в которых, впрочем, ни кучи драгоценного песка, ни полтонны золота в сейфе Компании не играли никакой роли.

И когда Грэйс Бентам мыла жестяные тарелки в своей хижине наверху, она часто смотрела вниз на Эльдорадо и тоже мечтала – конечно, тоже не о песке. Они часто встречались, ибо тропинки, ведущие на их заявки, пересекались, а кроме того, весной на Севере много о чем можно поговорить. Но ни разу ни один из них не открыл своего сердца ни блеском глаз, ни движением губ.

Так было вначале... Но однажды Эдвин Бентам проявил невероятную грубость. Подростки всегда грубы. К тому же, чувствуя себя королем Френч-Хилля, он вообразил о себе невесть что, забывая, насколько обязан всем жене. На этот раз Уартон слышал все, перехватил на тропинке Грэйс Бентам и высказывался весьма горячо. Грэйс почувствовала себя очень счастливой, хотя и не хотела слушать и заставила его пообещать никогда-никогда не говорить подобных вещей. Ее час еще не пришел.

Но вот солнце повернуло назад, на свою северную дорогу; черную ночь опять сменили стальные сумерки; снег стаял; вода вновь бежала по замерзшей земле; промывание золота началось снова. День и ночь желтая глина и речной песок пробегали через тонкие решета, оставляя свою дань смелым людям, пришедшим с Юга. И вот в это беспокойное, возбужденное время пришел час Грэйс Бентам.

Ко всем нам приходит этот час – ко всем, конечно, кто не слишком флегматичен. Очень многие добродетельны не потому, что у них какая-то прирожденная склонность к добру, а просто потому, что они слишком ленивы. Те из нас, кто знает минуты слабости, конечно, меня поймут.

Эдвин Бентам взвешивал намытое золото на прилавке у Форкса, – причем достаточное количество этого золота переходило через сосновый прилавок в карман трактирщика, – и вот в это время его жена спустилась с холма и скользнула в хижину Клайда Уартона. Уартон не ждал ее, но это несколько не изменило дела. И многих горестей, и многих напрасных мучительных ожиданий можно было бы избежать, если бы этого ее поступка не заметил отец Рубо и не свернул бы в сторону от главной дороги к реке.

– Дитя мое!

– Погодите, отец Рубо. Я уважаю вас, хотя я и не вашей веры, но не становитесь между мной и этой женщиной.

– И вы понимаете, что делаете?

– Понимаю. И если бы вы были всемогущим Богом и могли бы низвергнуть меня в вечный огонь, я и тогда бы поспорил с вами.

Уартон усадил Грэйс на стул и заслонил ее с вызывающим видом.

– Вы сядете вот сюда и будете сидеть спокойно, – продолжал он, обращаясь к иезуиту. – Сначала буду говорить я, потом – вы.

Отец Рубо вежливо наклонил голову и сел. Он был человек уступчивый и научился ждать. Уартон опустил на стул рядом с женщиной и взял ее руку в свои.

- Значит, вы меня, правда, любите и увезете отсюда? – Ее лицо приняло в себя все спокойствие, исходящее от этого человека, у которого она всегда могла найти теперь поддержку и защиту.
- Дорогая, вы помните, что я вам говорил тогда! Разумеется...
- Но как же вы это сделаете? А промывка?
- Неужели вы думаете о таких пустяках? Ну, например, я передам все дело отцу Рубо. Я вполне могу доверить ему расчет с Компанией.
- Только подумать! Я его никогда не увижу.
- Какое счастье!
- И уеду?.. Нет, Клайд, я не могу, я не могу...
- Уедете, уедете, конечно, уедете. Вы послушайте, как это все будет. Мы соберем кое-что и отправимся...
- А если он поедет за нами?
- Я ему переломаяю ребра...
- Нет, нет! Только не драться, Клайд. Вы должны обещать мне.
- Ладно! Тогда я скажу товарищам, чтобы выгнали его с заявки. Они все видели, как он обращается с вами, и не очень-то его долюбивают.
- Нет, этого вы не должны делать. Вы не должны его обижать.
- Не понимаю. Что же тогда? Дать ему войти сюда и увести вас на моих глазах?
- Н-нет, – сказала она совсем тихо, нежно погладив его руку.

– Тогда предоставьте все дело мне и не волнуйтесь попусту. Я постараюсь не обидеть его. А он-то много беспокоился, обижены вы или нет?! В Даусон мы не вернемся. Я пошлю вперед весточку своим ребятам, чтобы провели мне лодку вниз по Юкону. А мы переберемся через водораздел и спустимся к ним по Индиан Ривер. Потом...

– А потом?

Ее головка лежала на его плече. Голоса их стали совсем тихими и нежно-ритмичными; каждое слово было лаской. Иезуит беспокойно задвигался на стуле.

– А потом? – повторила она.

– А потом мы поедем дальше и дальше, через пороги Уайт-Хорс и через Бокс-Кэнон.

– Да?

– И через Шестидесятую Милю. А потом будут озера, а потом Чилькут, Дайэ и доберемся до моря.

– Но, милый, я совсем не умею грести.

– Ах, какая глупенькая! Я возьму с собой Ситку Чарлея. Он хорошо знает все реки и места для причала и вообще лучший знаток пути, даже среди индейцев. А у тебя будет только одно дело – сидеть в середине лодки и петь песни, и изображать из себя Клеопатру, и бороться с москитами. Нет, для москитов еще слишком рано – мы и тут в выигрыше.

– А потом, мой Антоний?

– Ну, а потом пароход в Сан-Франциско – и весь мир. Никогда больше не вернемся в эту проклятую дыру. Подумай только! Весь мир перед нами. Я продам здесь все. Мы и так достаточно богаты. Уолдверский Синдикат даст мне полмиллиона за остатки в земле, и еще столько же будет с этих куч, и еще столько же за Компанией. Мы поедем в Париж на выставку 1900 года. Мы

поедем в Иерусалим, если ты пожелаешь. Мы купим дворец в Италии, и ты будешь изображать Клеопатру, сколько захочешь. Нет, ты будешь моей Лукрецией, Актеей и всем, чем захочет быть твое милое, маленькое сердце. Но ты не должна, никогда не должна...

- Жена Цезаря вне подозрений.

- Разумеется, но...

- Но разве я буду твоей женой?

- Я не об этом...

- Но ведь ты будешь любить меня совсем так же и никогда, никогда... о, я знаю, ты будешь такой, как и все. Ты устанешь, я тебе надоем и... и...

- Как ты можешь?!

- Обещай мне!

- Да, да, конечно, обещаю.

- Ты говоришь это так легко. Но как ты можешь знать? И как я могу знать? Я так мало могу дать, но это так много для меня. О Клайд, обещай мне, что никогда...

- Ну-ну, вот ты начинаешь уже сомневаться. До самого дня нашей смерти - ты это знаешь.

- Подумать! Я один раз говорила то же самое... ему... и вот...

- Ну ты не должна больше думать об этом, любимая моя девочка; никогда, никогда я...

И первый раз их дрожащие губы встретились. Отец Рубо смотрел на дорогу к реке, но ждать больше был уже не в состоянии. Он кашлянул и повернулся.

– Теперь ваша очередь, отец! – Лицо Уартона было залито огнем первого поцелуя. Голос его звенел гордым восторгом, когда он уступил право этому другому. Он не сомневался в исходе. Не сомневалась и Грэйс, и улыбка играла на ее лице, когда она посмотрела на священника.

– Дитя мое, – начал он, – сердце мое обливается кровью, когда я смотрю на вас. Это прелестный сон, но ведь он не сбудется.

– Почему, отец? Я же сказала «да».

– Вы не понимаете, что делаете. Вы не подумали о клятве, данной человеку, который называется вашим мужем. Мне приходится напомнить вам о святости этой клятвы.

– А если я вспоминаю, но все-таки откажусь?

– Тогда Бог...

– Какой Бог? У моего мужа Бог, которому я не хочу поклоняться. Богов много всяких...

– Дитя, так нельзя говорить! Нет, вы так не думаете, конечно. Я понимаю. У меня у самого тоже бывали такие минуты. – На одно мгновение он очутился в родной Франции, и лицо сидящей перед ним женщины с печальными глазами затянуло, словно туманом.

– А в таком случае, скажите, отец, разве мой Бог не отрекся от меня? Я не была хуже других женщин. Я терпела от него очень много. Почему я должна терпеть еще? Почему я не смею получить это счастье? Я не могу, я не хочу возвращаться к нему!

– Скорее вы отреклись от своего Бога. Вернитесь. Положите свою тяжелую ношу в его руки, и тьма вокруг вас рассеется. О дитя мое...

– Нет, это все ни к чему. Сама посадила и сама буду поливать. Я пойду до конца. И если Бог накажет меня, я уж как-нибудь справлюсь. Вы, конечно, не поймете. Вы не женщина...

- Моя мать была женщиной.

- Но...

- И Христос родился от женщины.

Она не отвечала. Наступило молчание. Уартон нетерпеливо поглаживал усы и смотрел на дорогу. Грэйс уперлась локтями на стол, и ее лицо было серьезно и решительно. Улыбка исчезла. Отец Рубо нащупывал почву.

- У вас есть дети?

- Прежде я хотела, а теперь - нет. И я рада, что их нет.

- А мать?

- Есть.

- Она вас любит?

- Да. - Ее ответы были едва слышны.

- А брат? Впрочем, он мужчина... А сестры есть у вас?

Она ответила кивком.

- Моложе вас? Намного?

- На семь лет.

- А об этом вы хорошо подумали? Да, об этом. О вашей матери подумали? О сестре подумали? Она стоит сейчас на пороге своей женской жизни, и этот ваш дикий поступок может значить для нее очень много. Могли бы вы подойти к ней сейчас? Смотреть в ее молодое, чистое лицо, взять ее руку в свои или прижаться к ней щекой?

Его слова вызывали в ее мозгу яркие живые образы, и наконец она вскрикнула: – Не надо, не надо! – и отшатнулась, как собака, которая хочет избежать плетки.

– Но должны же вы прямо посмотреть на это все; и лучше сейчас, чем после.

В глазах его, которых она не могла видеть, была большая жалость, но на лице, напряженном и нервном, не было и тени снисхождения. Она подняла голову от стола, удерживая слезы, и старалась овладеть собой.

– Я уйду. Они не увидят меня никогда. И в конце концов забудут. Я для них словно умру. И... и я уйду с Клайдом... сегодня уйду.

Казалось, это был конец. Уартон выступил вперед, но священник остановил его движением руки.

– Вы хотите иметь детей?

Молчаливое «да».

– И молились о них?

– Часто.

– А вы подумали, что будет, если у вас будут дети, теперь?

На мгновение глаза отца Рубо остановились на человеке у окна.

Свет радости промелькнул по ее лицу. Потом она почувствовала сразу всю тяжесть того, что произойдет сейчас. Она с отчаянием подняла руку, но он продолжал.

– Можете вы представить невинного младенца у себя на руках? Мальчика? Свет отнесется мягче к девочке. Подумайте – ведь у вас самой молоко превратится в желчь! И вы сможете быть гордой и счастливой своим мальчиком, и будете смотреть на других детей?..

- О пощадите! Молчите!

- Несчастный козел отпущения за...

- Не надо! Не надо! Я вернусь. - Она упала на пол у его ног.

- Вот вырастет ваше дитя без одной дурной мысли, и когда-нибудь кто-нибудь грязно бросит ему в лицо самое любимое имя...

- Боже, Боже!

Она билась на полу. Священник вздохнул и помог ей подняться. Уартон бросился к ней, но она его остановила.

- Не подходите ко мне, Клайд. Я ухожу.

Слезы струились по ее лицу, и она не старалась вытереть их.

- После всего? Ты не уйдешь. Я не пущу тебя.

- Не трогай меня. - Она задрожала и попятилась.

- Буду! Ты моя! Слышишь, моя! - Потом он зарычал на священника. - О, какой же я был дурак, что дал вам распустить ваш глупый язык! Благодарите вашего Бога, что вы не простой смертный, а то бы я... Вы хотели воспользоваться привилегией своего сана. Ну, что ж, воспользовались! А теперь уходите из моего дома. Слышите, а то я забуду кто вы и что вы.

Отец Рубо поклонился, взял за руку Грэйс и направился к двери.

Но Уартон загородил им дорогу.

- Грэйс, ты сказала, что любишь меня.

- Да, сказала.

– А теперь?

– И теперь говорю.

– Повтори еще раз.

– Я люблю вас, Клайд, я вас люблю.

– Слыхали – вы, там? – закричал он. – И с такими-то словами вы пошлете ее назад, на вечную ложь и вечную муку с этим человеком?!

Но отец Рубо неожиданно втолкнул женщину в соседнюю комнату и запер дверь.

– Ни слова! – прошептал он Уартону, опустившись на стул в небрежной позе. – Помните, ради нее!

Вся комната вздрогнула от резкого удара в дверь, потом щеколда поднялась, и вошел Эдвин Бентам.

– Моей жены не видели? – спросил он после обмена приветствиями.

Оба отрицательно покачали головами.

– Ее следы спускаются от хижины вниз, – продолжал он испытующе. – И потом они обрываются на большой дороге, как раз против вас.

Его слушатели были на иголках.

– И вот я – я подумал...

– Она была здесь! – загремел Уартон.

Священник взглядом заставил его замолчать.

– Вы видели ее следы до самой хижины, сын мой? – Хитрый отец Рубо, – он очень старательно затоптал все следы, когда шел по тропинке час тому назад.

– Я не останавливался, не смотрел... – Его глаза подозрительно уставились на дверь, ведущую в другую комнату. Потом они вопросительно обратились к священнику. Этот покачал головой отрицательно, но сомнения, по-видимому, не рассеялись.

Тогда отец Рубо прошептал тихую, короткую молитву и поднялся.

– Если вы сомневаетесь, ну, что же... – Он сделал вид, что хочет открыть дверь.

Священник не мог лгать. Эдвин Бентам часто слышал это и верил этому.

– Нет, отец, разумеется, нет! – возразил он поспешно. – Я только не понимал, куда это ушла жена, и подумал, что, может быть... Вернее всего, она у мистрисс Стэнтон на Френч-Гёлче. Какая славная погода, не правда ли? А новости слышали? Мука упала до сорока долларов за сто кило, и, говорят, «че-ча-квас'ы» целыми стадами отправились за ней вниз по реке. Ну, мне пора. До свидания.

Дверь захлопнулась, и из окна они видели, как он направился на Френч-Гёлч.

Несколько недель спустя, как раз после июньского половодья, два человека плыли в челноке посередине реки. Они нагнали плывущую ель и привязали к ней лодку. Это помогало парусу и увеличивало его слабую силу, как какой-нибудь буксир. Отец Рубо решил оставить верховье реки и вернуться в Минуук, к своей черной пастве. К ним пришли белые люди, и теперь они оставили даже рыбную ловлю и отдавали слишком много времени некоему божеству, временное жилище которого было в бесчисленных черных бутылках. У Мельмут Кида тоже были кое-какие дела на низовье, и потому они путешествовали вместе.

Только один человек на всем Севере знал Павла Рубо – не отца Рубо, и это был Мельмут Кид. Только перед ним снимал священник свою официальную одежду и обнажал свою душу. И почему бы нет? Эти два человека достаточно знали друг друга. Разве не делили они между собой последний кусок рыбы, последнюю щепотку табака, последнюю и самую интимную мысль на пустынных пространствах Берингова моря, в мучительном лабиринте Большой Дельты, на ужасном зимнем пути от мыса Барроу до Паркюпайны?

Отец Рубо молчаливо дымил своей изношенной в путешествиях трубкой и смотрел на красный круг солнца, темневший дымным пятном на самом краю северного горизонта. Мельмут Кид вынул часы. Была полночь.

– Ладно, старый друг! – Кид, очевидно, продолжал прерванный разговор. – Бог, разумеется, простит эту ложь. Вот вам слова человека, который хорошо сказал о лжи:

«Если губы ее сказали хоть слово, помни, что на твоих – печать молчания,

И пятно позора на том, кем выдана тайна.

Если Герварду тяжело, и самая черная ложь прояснит его горе, —

Лги, пока движутся твои губы и пока хоть один человек остался в живых, чтобы слушать твою ложь».

Отец Рубо вынул трубку изо рта и подумал вслух:

– Твой автор говорит правду, но не это мучит мою душу. Ложь или раскаяние – это зависит от Бога. Но все-таки, все-таки...

– Что все-таки? Ваши руки чисты...

– Не совсем! Кид, я много думал об этом, и факт остается фактом. Я знал – и все-таки заставил ее вернуться.

Звонкая песнь реполова донеслась с лесистого берега; вдали откликнулась куропатка; олень шумно фыркал, купаясь.

А два человека курили трубки и молчали.

Мудрость снежной тропы

Ситка Чарлей совершил невозможное. Быть может, другие индейцы не хуже его постигли мудрость снежной тропы, но он один постиг мудрость белого человека – честь тропы и ее закон. Однако это далось ему не в один день. Мозги туземцев туги на обобщения, и необходимо, чтобы факты повторялись часто, пока озарит настоящее понимание. Ситка Чарлей с детства постоянно вращался среди белых и мужественно решил связать свою судьбу с ними, раз навсегда отрезав себя от своего народа. Но уважая и даже обоготворяя могущество белых, он еще не разгадал самой его сущности – чести и закона. И только в результате опыта, накопленного годами, уразумел эту сущность. Чужак – он знал ее даже лучше, чем сами белые. Индеец – он совершил невозможное.

Из этого родилось у него презрение к собственному своему народу – презрение, обычно им скрываемое, но теперь вырвавшееся наружу в виде вихря многоязычных ругательств, сыпавшихся на головы Ка-Чукти и Гоухи. Они ползали перед ним, как пара ворчащих овчарок, слишком трусливых, чтобы напасть, но недостаточно потерявших свою волчью природу, чтобы спрятать клыки. Они были некрасивы, как, впрочем, и сам Ситка Чарлей. Лица их были очень худы, а скулы усеяны безобразными струпьями; струпья эти то трескались, то снова замерзали на сильном морозе; глаза их сверкали мрачным блеском, порожденным голодом и отчаянием. Люди, находящиеся по ту сторону границы чести и закона, не заслуживают доверия. Ситка Чарлей знал это; поэтому-то он еще десять дней тому назад заставил их бросить ружья вместе с остальным лагерным скарбом. Ружья остались только у него и у капитана Эпингуэлла.

– Марш! Развести огонь, – скомандовал он, вынимая драгоценную коробку спичек и неразлучные с нею полоски сухой березовой коры.

Оба индейца угрюмо принялись за работу и стали собирать сухие ветки и валежник. Они были слабы, часто останавливались и, наклоняясь, ловили себя на бесцельных движениях или, спотыкаясь, ковыляли к месту костра, причем колени их стучали друг о дружку, как кастаньеты. После каждой принесенной охапки они с минуту отдыхали, словно от полного бессилия или смертельной усталости. Порой глаза их принимали выражение терпеливого стоицизма и глухого страдания; а затем, казалось, «я» снова вспыхивало в них и как бы разражалось диким криком: «я, я, я жить хочу!» – доминирующей нотой всего одушевленного мира.

Легкий ветерок дохнул с юга, щипля неприкрытые части их тела, и вгонял мороз огненными иглами в их кости сквозь меха и мышцы. Поэтому, когда огонь

разгорелся и на снегу оттаял влажный круг, Ситка Чарлей заставил своих упиравшихся товарищей помочь ему в установке прикрытия. То было примитивное сооружение – обыкновенное одеяло, натянутое параллельно костру с наветренной стороны и наклоненное под углом приблизительно в сорок пять градусов. Это одеяло преграждало путь холодному ветру и направляло тепло назад и вниз на тех, кто должен был укрыться под его защитой. Затем они набросали ложе из зеленых сосновых веток, чтобы тел их не касался снег. Когда эта работа была закончена, Ка-Чукти и Гоухи принялись за свои ноги. Обледенелые мокасины страшно изнашивались от долгого путешествия, и острый лед береговых откосов изрезал их в клочья. Сивашские носки были в таком же состоянии; когда они оттаяли и были сняты с ног, пальцы – почти все изуродованные – рассказали несложную сказку снежной тропы.

Оставив их обоих просушивать обувь, Ситка Чарлей повернул назад по той же дороге, по какой пришел. У него тоже было сильное желание присесть у огня и расправить болевшие члены, но честь и закон не позволяли. Он с трудом продвигался по замерзшему полю; каждое движение вызывало протест, каждый мускул оказывал сопротивление. Там, где вода между откосами берегов затянулась коркой, ему несколько раз приходилось мучительно ускорять движения, когда хрупкий грунт под его ногами угрожающе колебался. В таких местах смерть приходила легко и быстро. Но он вовсе этого не хотел.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Калибр револьвера. (Прим. пер.)

Купить: <https://tellnovel.me/ru/dzhek-london/syn-volka-deti-moroza-igra-sbornik-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)